ДБНО
ф-62
Фирсов Н
Народ. движ.
в России до XIX в

ОМСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРЕСТ

ИМЕЕТ

7 АГРОБАЗ:

№ 14—при ст. „Исиль-Куль“, Омск. ж. д.
№ 19—при ст. „Любинская“,
№ 22—при разъезде „Алонском“,
№ 28—при ст. „Изылбашской“.
№ 29—при станице „Соляной“, г. Черлак.
№ 34—при ст. „Колония“ и
№ 40—в Тарской ул., Финский в.

6 ГОСМЕЛЬНИЦ:

№ 1—при стан. „Исиль-Куль“.
№ 2—при селе Гольдштадт (Кусак), Славго
родского уезда.
№ 3—гор. Славгород.
№ 4—при поселке „Чунаевском“.
№ 5—Станция „Татарка“, Омской ж. д.
№ 6—станц. „Называевка“, Тюменской ж.

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА ПОСТАВКУ СЕМЕННОГО И ПЛЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

А ИМЕННО **молодняка:** украинского и местного улучшенного скота **поросят:** иоркширской породы и **чистосортного семен ного материала,** пшеницы **„Поэ“, „Китчнер“,** овса **„Лоховского“, „Люнеб бург“, „Золотой дождь“** и проса **„Сонотокое“.**

Кроме того, „ОМГУБСЕЛЬТРЕСТ“ принимает заказы на **мясные постав ки** своего скота (скотское мясо, баранье и свиное) и заказы на **поставку фуража, грубого и зернового.**

В гор. ОМСКЕ имеется оптово-розничный мучной магазин, в который посту пают для продажи **всевозможные сорта муки своих мельниц по самым доступным ценам.**

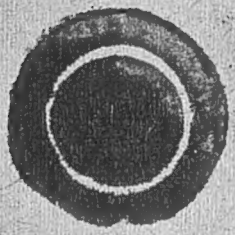
Об условиях заказов, поставок и продажи можно узнать в Коммерческо части **Управления Омгубсельтреста, Омск, 2-ой взвоз, д. № 24,**

ОМГУБСЕЛЬТРЕСТ.

ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ

Революционные движения

Под ред. проф. И. Н. Бороздина.



Проф. Н. Н. ФИРСОВ

ОБЩЕСТВ. НАЦ. МУЗ. КАБИНЕТ ЛЕНИНИЗМА
ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ
ДБ 40 Ф62
947.Р2 Ф61
ПРОВ. 1935

НАРОДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ ДО XIX ВЕКА

ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

Издание Т-ва „МИР"
Москва, Арбат, Никольский пер., д. 10.
1924 г.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
571290

Типография „ДЕЛО". Петроград, 5-я Советская, 44.

Петрогублит № 12374. Тираж 3000 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Предлагаемые вниманию читателя „очерки" имеют в виду широкую публику пролетариата и крестьянства; поэтому автор стремился к возможно более простому и конкретному изложению. Но вместе с тем он не успускал из виду и интересов науки, поэтому старался некоторые вопросы, еще недостаточно освещенные, изложить на основании неиспользованных архивных материалов и вообще дать читателю самостоятельное изображение предмета. На сколько автор достиг обеих целей,—судить, разумеется, не ему, но он твердо может сказать одно, что изложенное в этой книжке—не компиляция, а результат самостоятельных изучений автора — прежних и новых.

Автор.

Очерк первый.

Народная революция в начале XVII в.

I.

Народная борьба на Руси за землю и волю началась более 300 лет тому назад. Русское крестьянство тогда только-что почувствовало всю тяжесть наброшенной на него крепостной петли. Землю оно потеряло гораздо раньше, а вслед за этой потерей к нему незаметно подкралась и неволя.

Почему крестьянство потеряло землю?

Да потому, что в те далекие от нас времена, когда еще только слагалось великорусское государство в борьбе с наступавшими и с востока, и с запада, и с юга врагами,—масса народная была неорганизована и потому слаба, а князья, бояре и служилые люди, уже имевшие военную организацию, соединившиеся в дружины и умевшие хорошо владеть оружием, воспользовались таким хаотическим, разбросанным состоянием народа и захватили в свою собственность лучшие земли; их примеру последовали опиравшиеся на княжеско-боярское и служилое оружие монастыри и высшие

иерархи церкви,—и таким путем все лучшие земли выскользнули из трудовых рук крестьянства. Остальные земли, уцелевшие еще после первоначального расхвата в частную собственность, были об'явлены собственностью государства, которая плохо отличалась от собственности государя. Государи-цари не церемонились с государственными или черными землями и продолжали раздавать их своим боярам и воинам, а впоследствии дворянам—за службу, монастырям и архиереям—за молитву, богатым купцам — для заведения крупного промышленного дела. Вместе с тем велись государством постоянные войны, вызываемые развитием в Московском Государстве торгового капитала и выносившиеся на плечах главным образом крестьянства: оно платило за них и кровью, и трудом, и своим последним скудным достоянием. Пошедшее после завоевания Среднего и Нижнего Поволжья развитие торгового капитала в Московском государстве еще более быстрым темпом ухудшало положение низших классов и прежде всего—крестьянства. Крестьяне разорялись во время бесконечных войн и затем входили в неоплатные долги владельцам земли, которые давали им ссуду или „подмогу“ на хозяйственное обзаведение и вообще помогали им подняться. А неоплатный должник в те времена должен был идти в кабалу, становился кабальным холопом. Такой человек терял личную свободу, терял право перейти с земли одного владельца на землю другого, не уплатив долга своему старому хозяину. Так свободный „выход“ от одного землевладельца к другому, продолжавший существовать по закону, делался на практике для весьма многих неоплатных должников фактически несуществующим,—и такого крестьянина, если кто-

либо из землевладельцев хотел переманить на свою землю, обыкновенно вывозили от прежнего его хозяина, предварительно уплатив ему долг вывозимого. Такой порядок отношений в селе постепенно и создавал крепостную неволю, еще более отбросившую эксплоатируемых в совершенно особое положение от эксплоататоров, в положение как бы обращенного в рабство чужого народа. Впоследствии, подкрепляя этот порядок законодательными нормами, дворянское государство назвало крепостную неволю крепостным правом. Но крестьянство сначала и до конца смотрело на закрепощение, конечно, как на насилие со стороны боярина или барина. И не мирилось с этим насилием никогда. Кто желал немедленно покончить с неволей, тот бежал. В конце XVI в. бегство крестьян от крепостной неволи сделалось резко выраженным явлением. Землевладельцы, служилые люди, забили тревогу. Правительство, стоявшее на страже их интересов, стало приказывать своим агентам отыскивать беглецов и возвращать их прежним владельцам, при чем устанавливались сроки для отыскания и поимки беглых крестьян, сначала пятилетний, а потом и более длинные. В то же время правительство производило описи всем тяглецам, т. е. общественным классам (крестьянам и посадским), платившим подати и исполнявшим разные государственные повинности, дабы знать, на каких местах какие люди живут и дабы удобнее было их и удержать там же, и водворить туда же, где жили, в случае, если убегут.

Все эти правительственные меры крепко затягивали крепостную петлю на крестьянской шее. Уже в конце XVI в. крестьянству на Руси трудно было дышать.

II.

К этому же времени на Руси закончила свое существование старая, так называемая Рюриковская династия московских князей, потом царей, называвшихся также „великими государями всея Руси“, и общественные классы московского государства пришли в брожение, стремясь установить власть какой-либо новой династии или возродить старую чрез возведение на московский престол самозванцев, которых народная масса принимала за настоящих отпрысков угасшей династии.

Последний царь старой династии, слабоумный сын Ивана Грозного, умер в то время, когда в народе было неспокойно, ибо крестьянство никак не могло помириться с розысками беглых из своей братии и с водворением их на прежние места, к тем господам, от коих они, за несвободой выхода, убежали. Эти розыски и водворения начали особенно энергично практиковаться в царствование богобоязненного молитвенника, „скорбного главой“ Федора Ивановича по почину действительного, а не номинального государственного правителя, царского шурина, боярина Бориса Федоровича Годунова. По смерти царя Федора, Борис Годунов и был возведен на московский престол. В его царствование и без того бедственное положение простого народа еще более ухудшилось, несмотря на торжественное обещание царя Бориса, всенародно и громко провозглашенное им во время коронования, что в его государстве не будет нищих и убогих и что он даже последнюю рубашку разделит со всеми.

Дело в том, что сельское хозяйство в центральной части Московского государства во второй

половине XVI в. пришло в большой упадок. Население было разорено непосильными требованиями, пред'явленными ему государственной властью, требованиями, тяжесть которых была усугублена уже происходившей заменой натуральных сборов денежными. Помещик в своей вотчине и, особенно, в полученном им за службу поместье (условном и временном владении), оказывался еще более алчным, чем правительство с его фискальной, т. е. финансовой государственной нуждой; помещик уже совсем не считался с платежными средствами населения: он требовал платежей и натурой, и деньгами, приступал к пользованию крестьянским трудом и на своей собственной запашке и на барщине. Так совместным давлением обеих социальных сил— правительства и владеющего землей класса, собственно и выделявшего из своей среды правительственных лиц, выдавливались последние жизненные соки из народа,—и обнищавшим общественным низам, всем „маломочным" города и села, ничего не оставалось, как „брести розно" в поисках лучшего, в поисках земли и воли где-нибудь на стороне, преимущественно на окраинах государства. Центральная область быстро оскудевала населением, многие деревни почти совсем остались без жителей, поля лежали „в пусте" и дичали. Эта заброшенность и пустота, как будто бы по стране прошел мор, уничтоживший всё население и лишь кое-где пощадивший какого-нибудь юродивого нищего, производили удручающее впечатление даже на сторонних наблюдателей-иностранцев, посетивших во второй половине XVI в. Московию.

При таком печальном положении, при таком, как говорится, „кризисе" сельского хозяйства в центральной области государства, вполне есте-

ственно было дождаться простому народу, сверх постоянного, хронического недоедания,—и настоящего голода: стоило только наступить каким-либо неблагоприятным для урожая атмосферическим явлениям. Таковые явления разразились в первые годы XVII в.—на 3-й и 4-й годы годуновского царствования [1]), после чего на 5-й год его и наступил по всему государству великий голод, погубивший в одной Москве до 500.000 чел., во время которого люди питались не только древесной корой, мхом, травой, псятиной и котятиной, но и человеческим мясом, попадавшим в Москве даже в продажу—в пирогах,—голод, когда по дорогам валялись мертвые и умирающие, а в селениях в голодном иступлении бывало, что мужья убивали своих жен, жены мужей, матери своих детей, а дети родителей, голод, от которого, по словам поэта, „народ завыл, в мученьях погибая". Этот беспощадный цар-голод и его костлявая спутница—повальная болезнь—говорят, чума, а, может быть, голодный тиф—обильно покосили население Московии и чрезвычайно ухудшили положение и усилили разброд оставшейся его части. Крайний эгоизм, своекорыстие и стремление всякими способами поживиться на счет своего ближнего, обнаженно проявившиеся в верхах русского общества, подняли с низов его всю ненависть и злобу, которые давно и не без причины там таились и которые, выйдя на поверхность, замутили всю жизнь московского царства и разрушили его едва налаженный государственный порядок. В самом деле, кто только

---

[1]) См. мою статью: „Голод пред смутным временем в Московском государстве" (историч. характеристики и эскизы, т. I) и другую мою статью: „Голод в истории России" (сборник, изд. Центр. Комитетом Татреспублики: „Бич народа", Казань 1922 г.).

тогда не прятал хлеба в терпеливом ожидании, что высокая цена на него еще более повысится, и к каким только способам не прибегали торговцы, чтобы больше барышей получить от продажи хлеба!.. Даже „святейший“ патриарх, попридерживая свои запасы хлеба и не скрывая, как сильный человек, своих намерений, говорил, что он ожидает возвышения цены на хлеб. О других владельцах хлеба и говорить, после этого, нечего: так же, как и патриарх, поступали все: и монастыри, и бояре, и вообще все служилые люди—помещики. Не даром, впоследствии, в разгар смуты, было обнаружено, что житницы во многих местах переполнены зерном, а гумна завалены хлебом всякого рода, в копнах и одоньях, нередко от давности уже покрытых растительностью. Так много оказалось спрятанного старого хлеба: по мнению современника, его могло хватить на 10 лет. Хлеба было изобильно, а простой народ умирал с голоду!

Но своекорыстие высших классов проявлялось не только в скрывании хлебных запасов. Богачи скупали хлеб у бедняков, получавших его из царских магазинов, скупали по низкой цене, а затем по высокой продавали голодающим. Не всегда, разумеется, голодные готовы были выпустить из своих рук хлеб, получаемый из царских магазинов, предпочитая его не продавать, а есть: в этом случае хлеб у них отбирался насильно даже надсмотрщиками, приставленными следить за раздачей казенного хлеба и вырывавшими его прямо изо рта голодных. А то бывало и так: наденет сильный человек, напр., какой-нибудь дьяк, нищенские лохмотья, да и получит сам из царского магазина хлебную порцию, положенную не для ряженного бедняком богача, а для настоящего голодного.

В вольной продаже вес хлеба был точно определен правительством, но пекарям и это распоряжение пошло на пользу: они начали увеличивать вес хлеба водой.

Своекорыстие высших классов, обнаружившееся в этих явлениях, было понятно народу. Да и нельзя было не понять этого, когда наиболее угнетенные рабочие люди той поры—кабальные холопы, которых к этому времени было очень много (ибо и жизнь, и законодательство быстро развивали это социальное явление) — выгонялись господами из усадеб для самостоятельных поисков пищи. Куда же было идти таким людям? Им некуда было идти, кроме разбойничьих шаек, которых становилось все больше и больше. Дело дошло до того, что разбойники стали грозить опасностью даже столице государства, и с ними правительству царя Бориса пришлось вести настоящую войну. Под Москвой произошел кровопролитный бой между царскою ратью и большой разбойничьей толпой под предводительством атамана Хлопка-Косолапа. Разбойники дрались с необыкновенной отвагой, отчаянно, „как звери“, по словам летописца, но были разбиты.

Тем не менее разбойничество не было поражено, оно продолжало развиваться и расстраивать народную жизнь. Это явление показывает, что обездоленных на Руси явилось слишком много и что для них не оказывалось места в вытолкнувшем их из своей среды крепостническом обществе. Неимущие и лишенные всякого пристанища распространились по всему государству, но окраины его (особенно южные) были прямо-таки переполнены этими бездомными скитальцами.

III.

После вышеизложенного, неудивительно, что когда против царя Бориса из Польши двинулся самозванец, назвавший себя царевичем Дмитрием, сыном Ивана Васильевича Грозного, яко бы спасшийся от подосланных когда то Борисом Годуновым убийц, двинулся с небольшим отрядом, но с большими надеждами на народное недовольство на Руси, то к этому искателю московского престола присоединился весь простой народ Северской Украйны и к нему потянулась вся казацкая голытьба, а это обстоятельство и дало ему победу над годуновским правительством.

Неведомый человек воцарился в Москве под именем царя Дмитрия Ивановича при помощи служилого люда и казаков и по желанию всего простого народа. Массы всколыхнулись. Они не могли подчиниться закрепощению без упорной борьбы. Великий „голод" еще более разжег классовую ненависть обездоленных к имущим. Успех для всякого авантюриста, обещавшего простому народу облегчение его участи, был обеспечен; ибо основой этого успеха явилось мощное повстанческое движение, начавшееся в народных массах. Еще в начале 50-х годов (XIX в.) Герцен, с обычной своей проницательностью, размышляя над судьбами русского крестьянства, лучше любого патентованного историка понял это: „Легкий успех Дмитрия самозванца", писал тогда знаменитый эмигрант, „восторженное отношение к нему народа, появление подражателей ему—других самозванцев, которые, несмотря на поражения, все снова появлялись с огромным войском пред Москвою,—вся эта исто-

рия осталась бы совершенно непонятною, если бы она не исходила из могучего, широкого и глубокого движения".

Надежды, возложенные первым самозванцем на обездоленных, оправдались. Но и простой народ на человека, принятого им на московский престол, возлагал свои надежды: народ полагал, что новый царь из старой, привычной ему, народу, династии придет на помощь всем сирым и бедным, холопам и крестьянам, что он облегчит их участь, за хлеб и соль, поднесенные ему при вступлении в Москву, даст им возможность жить сколько-нибудь сыто и не в беспросветной кабале у бояр и служилых людей. Действительно, некоторые облегчения многочисленным беднякам, попавшим в кабалу, и беглым крестьянам были сделаны. Было ослаблено развитие кабального холопства и ограничено действие указов о беглых: убежавшие во время великого голода приобрели право на свободу.

Дмитрий Иванович понимал, что выдвинут массами.

Но, будучи во власти польского влияния, он поступал неосторожно по отношению к национальной психологии, чем и воспользовались его враги— бояре... И самозванный царь, ставленник казаков, погиб, погубленный боярами, служилыми людьми и купцами и не поддержанный сбитым с толку московским простонародьем...

На московском престоле воцарился боярин-князь Василий Иванович Шуйский, глава заговора против самозванного царя Дмитрия. Царь Василий Шуйский, ставленник боярской партии, вел уже прямо боярскую линию в своей внутренней политике и потому скоро сделался ненавистным и служилому классу, и широким народным массам.

Против него началось сильное движение и прежде всего опять-таки в Северской Украйне, где всегда можно было предприимчивым людям опереться на массы бродячего люда—беглых холопов и крестьян. Сначала поднялось провинциальное служилое дворянство с некоторыми, не попавшими в правительство Шуйского и потому враждебными ему боярами; дворянство желало бы приобщиться к делу высшего управления, а его туда не пустили и тем самым откинули в дело протеста и восстания, а потом вскоре поднялись и низы общества—холопы и крестьяне, к которым быстро примкнули организованные казацкие и разбойничьи шайки, состоявшие из тех же беглых холопов и крестьян. Эти простонародные толпы подкрепили восставших служилых людей, и совместными усилиями служило народных ополчений правительство царя Василия было сбито на край пропасти... И на этом краю оно удержалось и не погибло в этот первый момент предпринятого против него натиска. Потому и не погибло, что социальные силы, поднявшиеся против него, разделились.

Восставшие служилые люди, после победы над войском Василия Шуйского, увидали, что их товарищи по восстанию—вся эта низшая братия Московской Руси—совсем им не пара, что им с нею не по дороге, ибо у низших классов совершенно иные жизненные цели, чем у служилых, у тогдашних дворян-помещиков. Если помещикам нужен был и царь помещичий, который пособил бы им покрепче прикрутить крестьян, то простым или черным людям, всем мужикам, если нужен был царь, то только такой, который блюл бы чисто народные интересы, мужицкий царь, и такого они продолжали ждать в лице царя Дмитрия Ивановича,

якобы, как гласила молва, спасшегося от бояр во второй раз, во время возмущения против него в Москве. Но главное, общественным низам, всем беднякам надо было так или иначе расправиться с боярами и воеводами. И эта отрицательная часть программы простонародного восстания имела для поднявшихся холопов и крестьян большее значение, чем положительная—создать новое правительство. Восстание их было не столько полититеское каким было восстание дворян-помещиков, сколько социальное, иначе говоря, холопско-крестьянское восстание, будучи направлено против боярского правительства Шуйского, тем самым в такой же и даже еще в большей мере направлялось против имущего и владеющего землей и людьми класса.

Вдумчивый современник хорошо понимал это и записал в свою летопись следующее: „Собрались боярские люди и крестьяне, с ними же пристали украинские посадские люди и стрельцы, и казаки, и начали воевод хватать и сажать по темницам; бояр же своих дома разоряли и животы грабили, жен и детей позорили и за себя брали". Приведем необходимые факты этого движения,—в возможно обобщенном виде.

IV.

У поднявшихся „боярских людей" (холопов) и крестьян был и свой предводитель—беглый холоп Иван Болотников, человек бывалый и способный дать стихийному народному движению известную военную организацию. До этого времени Болотников побывал в плену у крымских татар, откуда бежал в Италию, из которой чрез Польшу пробрался в Московское государство, принеся сюда

убеждение, что царь Дмитрий Иванович спасся из Москвы, что он скоро явится снова для возвращения себе похищенных у него боярами прав и престола и что во имя этого законного царя следует поднять обездоленные народные массы, столь близкие Болотникову по происхождению и положению бездомного скитальца. А массы и без того уже поднимались. Смелый и энергичный Болотников встал во главе их и сделался народным вождем. Для большего успеха движения он вошел в соглашение с вождями служило-дворянского восстания против правительства Шуйского, но, действуя совместно с отрядами служилого дворянства и разбив царское войско, Болотников в своем победном шествии на Москву не забыл настоящих стремлений предводимого им черного люда—холопов, крестьян, казаков—и в распространяемых им грамотах или прокламациях повелевал боярским холопам побивать своих бояр, — жен, вотчины и поместья себе брать. Этого мало. И купцов рекомендовалось истреблять так же, как бояр: „шпыням и безыменным ворам", призывала грамота Болотникова (в переложении летописца), „гостей и всех торговых людей побивать, имение их грабить". Словом, всем восставшим общественным низам или „ворам" (как тогда назывались бунтовщики или вообще все, неповинующиеся власти) грамоты Болотникова сулили, что они, истребив бояр и всех богатых, сами станут боярами, воеводами, окольничими, дьяками, т. е. займут места прежних своих господ. Это значило, что неимущие классы устами своего вождя, вышедшего из их же среды, об'явили беспощадную войну имущим, следовательно и тем служилым дворянам-помещикам, с которыми народные ополчения действовали против

57/1230.
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПОКАЗАНО

Шуйского; неудивительно, что помещичьи отряды, увидав, что их главный враг не Шуйский с боярами, а поднявшиеся холопы и крестьяне, отошли от этих своих опасных союзников и принесли повинную царю Василию. Болотников остался лишь с одними холопами, крестьянами и казаками, был побежден и в Туле сдался на милость победителя, который обещал даровать жизнь Болотникову, „но слова и клятвы своей не сдержал", свидетельствует современник, — „и бессовестно приказал казнить" вождей холопско-крестьянско-казацких ополчений.

Не успел однако царь Василий Шуйский справиться с одним врагом, как пред ним очутился другой, еще более опасный, — давно ожидаемый народными массами и снова, наконец, явившийся в Северской Украине царь Дмитрий, которого историки именуют Лжедмитрием II. Это был человек совершенно неизвестного происхождения. Относительно его даже современники, сообщающие нечто о других самозванцах той эпохи, ничего не могут сказать и с недоумением отмечают, что его „никто не знал" и что он „неведомо откуда взялся". Но так как его ждали, то он и явился, а когда явился, его признали, ибо хотели признать.

Около Лжедмитрия II быстро сформировались многочисленные ополчения, преимущественно из холопов, крестьян и казаков, сильно подкрепивших польские военные отряды, тоже, как и к первому самозванцу, пришедшие на службу и ко второму. Двинувшись на Москву, Лжедмитрий II одержал победу над высланным против него войском царя Василия при общем признании со стороны простого народа, сдававшего ему города, подошел к Москве и осадил ее, основав свою резиденцию в селе Тушине. Успех его среди черни, среди холо-

пов, крестьян и „маломочных“ посадских был полный, ибо он, как и Болотников, шел не только против царя Василия и его правительства, но и вообще против высших классов Московского государства. Грамоты его, как и грамоты Болотникова, призывали низшую братию к избиению бояр и всех лучших, т. е. богатых людей, приглашая бедняков к отобранию в их пользование имущества бояр и богачей, их жен и детей.

Большая часть городов Московского государства отложилась от царя Василия и присоединилась к царю Дмитрию, который таким образом рядом с сильно уменьшившимся царством бояр, приказных, служилых людей и богатых купцов, оставшихся верными Василию Шуйскому, образовал значительно большее царство холопов, крестьян и казаков, в котором однако управление устраивалось по старому—со своими боярами, приказными, служилыми, со своим церковным клиром и даже со своим патриархом, отцом будущего московского царя Михаила Федоровича Романова, митрополитом Ростовским Филаретом, принявшим патриаршество от Тушинского царя Лжедмитрия II.

Этот последний в нашей истории является мужицким царем, царем холопов, крестьян и казаков, и потому представители имущих классов его презрительно называли „цариком“ или „Тушинским вором“. Ему, как и Болотникову, не удалось взять Москвы. Имущие упорно отсиживались, зная, что им не будет пощады от народно-казацких ополчений Лжедмитрия II.

Время шло, а материальное состояние осаждавших Москву все ухудшалось и ухудшалось, ибо они быстро разорили центральную область государства, открылся великий недостаток в продоволь-

ствии, и укрепленному тушинскому лагерю под Москвой, этой столице большей части тогдашней Руси, грозил лютый голод. А тут еще грянул гром со стороны. Польский король Сигизмунд воспользовался внутренней смутой на Руси и, вступив в ее пределы, осадил Смоленск. Шведы, не желая уступать полякам, напали на Новгородскую область. Нашествие внешних врагов, особенно поляков, было толчком к новым бедствиям, к еще большему углублению народной революции, развивавшейся по направлению к полному разрушению государственного и социального порядка на Руси, к полной анархии. Тушинское царство немедленно распалось, а Лжедмитрий II вскоре погиб в Калуге, куда ему пришлось бежать из-под Москвы, из села Тушина. Царь Василий Иванович Шуйский тоже не уцелел на Московском престоле. После поражения его войска, под позорным предводительством его брата, он был сведен с трона и пострижен в монахи, а в цари московские был избран боярами и другими имущими, примкнувшими к первым, иностранный принц—польский королевич Владислав, что повлекло за собой занятие Москвы польским отрядом, разбившим войско Шуйских. При диктатуре начальника польского отряда пана Жолкевского, а потом пана Гонсевского в Москве образовалось временное правительство из бояр и дворян с участием „торгового мужика“ Андронова, поднятого народной революцией в правительственные сферы, и здесь в своих развязных действиях по отношению к другим членам „семибоярщины“, как стали называть это правительство в народе, опиравшегося на польский гарнизон. Остальная Русь почти ускользнула от правительственного влияния „семибоярщины“. Она частью была за-

воевана иноземцами, ибо Новгород был захвачен шведами, а Смоленск, после долгих усилий, был занят поляками; большею же частью не признавала московского правительства, чувствуя, что за его спиной надвигается подданство самому Сигизмунду и, следовательно, полное (как думали) порабощение соседнему иноверному государству.

V.

Это было самое тяжелое время, когда-либо переживавшееся Московскою Русью. Развивавшаяся революция ввергла ее в такое положение, что возник вопрос, быть этой Руси или не быть, как самостоятельному государству, и все те общественные классы, которые многого могли лишиться от потери политической независимости, начали искать выхода к положительному решению поставленного жизнью страшного вопроса: быть или не быть? Да и вообще существование на Руси сделалось трудным, невыносимым. Она уже несколько лет раздиралась внутренней борьбой; из политической — за тот или другой состав правительства—борьба скоро превратилась в социальную, а под конец, с налетом иноземных коршунов, перешла в глубочайшую анархию и неразбериху. „Люди,—так рассказывает современник Лев Сапега про русский народ,—сами между собою кровь свою проливали, даже люди одного города бились до последнего с людьми другого, брат против брата, сын против отца“. Даже духовенство принимало деятельное участие в этой борьбе, в которой приобретение чужого имущества являлось главной целью поднявшихся низших классов населения,— и народная песня-быль, звучный, но неподкупный

памятник старины, превосходно обрисовывает это „воровское“ течение жизни и плывущего по нему и благословляющего „попа“: „Сбиралися воры“, вспоминает о Смутном времени песня:

Воры не чужие,
Ближние соседи,
Не много, не мало
Их семеро са́ней.
Во первых-то са́нях
Ата́маны сами.
Во седьмых-то санях
Сидит поп Емеля.
У попа Емели
Крест на ремени,
Крест на ремени —
В полторы сажени.
Батько благословляет, —
— Крестом ограждает:
Поезжайте, дети,
Во чужие клети,
А что ни добудете —
— Попа не забудете.

Шайки казаков и беглых крестьян с самозванными царями распространились по Руси, особенно по центральной области и много содействовали окончательному развалу жизни. Начиная с самозванца Лжепетра, пришедшего с казаками еще к Болотникову, все эти шайки убивали бояр, воевод и дворян, мстя им за все мучительства, насилия и всякие надругательства, которые в предшествующее время терпели холопы и крестьяне от своих господ, особенно от их алчного своекорыстия и хищничества в страшные голодные годы.

Беспристрастный в данном случае летописец эту кровавую расправу холопов и крестьян с боярами и дворянами рассматривает, как божеское наказание за грехи владеющего землей и людьми класса: „за непотребство, зависть и гордость“, говорит он, „пострадали и убиены были не от неверных, но от рабов своих и крестьян поругаемы и убиваемы были“. Проявляясь, как месть подневольных и обнищавших властным и богатым, этот натиск был в сущности борьбой крестьянства за волю и землю. Крестьянство, согласно с условиями своего хозяйственного быта и со своим общим пониманием жизни, полагало, что без хозяина невозможно, как надо, по хорошему устроиться, а потому то приставало к царям-самозванцам, являвшимся из другой среды, но обещавшим ему все житейские блага, то прямо из своего брата выдвигало кандидатов на царский престол, в надежде, что свой, настоящий мужицкий царь, скорее всего удовлетворит крестьянские нужды. Впоследствии вспоминали, что крестьяне — Шацкого уезда мужики — коверинцы, колтыринцы, конобеевцы, „собрався“, „говорили меж собой так: сойдемся де, вместе и выберем себе царя“. [1]) И выбирали. Принимали и выдвигали и царевичей, кандидатов в цари. И каких только „царевичей“ не появлялось в таких шайках! Здесь мы встречаем царевича Федора, царевича Клементия, царевича Семена, царевича Василия, царевича Ерошку, Гаврилку, Мартышку, царевича Осиновика: „иной боярский человек (холоп), иной мужик пашенный“, поясняет летописец, сообщающий о всех этих удивительных „царевичах“. Но толку от такого движения не было и не могло

---

[1]) Слово и дело, докум., изданные Новомбергским, 584.

быть, ибо жизнь человеческая не сказка об Иване-царевиче, действующем по щучьему велению, по своему хотенью, а нечто роковое, неумолимое и независящее от воли отдельных лиц, и потому не при помощи каких бы то ни было царей и царевичей совершаются великие общественные перевороты. Обилие же всякого рода самозванцев в ту пору (о которой идет речь), ничего не обещая хорошего для обездоленного крестьянства, лишь увеличивало разруху жизни и разорение страны. Литовско-польские и казацкие отряды, бродившие по Руси, довершали опустошение ее. Центральная часть государства превратилась в сплошную пустыню. Вот как современник описывает то, что получилось в результате хозяйствования в этой части страны Тушинцев, т. е. Лжедмитрия II, а также и других многих самозванцев в казацких и холопско-крестьянских шайках: „Жилища человеческие превратились в логовища зверей. Медведи, волки, лисицы и зайцы свободно гуляли по городским площадям, и птицы вили гнезда на трупах человеческих. Люди сменили зверей в их лесных убежищах, скрывались в пещерах, непроходимых кустарниках, искали темноты, желали скорейшего наступления ночи, но ночи были ясны: вместо луны пожарное зарево освещало поля и леса, охота за зверями сменилась теперь охотою за людьми, которых следы отыскивали гончие собаки; казаки, если где не могли истребить сельских запасов, то сыпали их в воду и грязь и топтали лошадьми; жгли дома, с неистовством истребляли всякую домашнюю рухлядь; где не успевали жечь домов, там портили их, рассекали двери и ворота, чтобы сделать жилища неспособными к обитанию. Звери поступали лучше людей, потому что звери нано-

сили одну телесную смерть. Тушинцы же и поляки вносили развратъ в общество, похищая жен от мужей и детей от родителей".

В эпоху семибоярщины и оккупации Москвы польским отрядом разорение стало грозить распространением и на такие местности государства, которые серьезно еще не пострадали от внутренней борьбы, на северную область и на Нижегородское и среднее Поволжье. Тогда там все домовитые слои, как городские, так и сельские, зашевелились и начали движение в пользу восстановления порядка.

Коммерческий и зажиточный, буржуазный Нижний Новгород встал во главе этого движения, сделавшегося националистической реакцией, в конце концов освободившего Москву от поляков, пришедшего к избранию земским собором царя и восстановившего государственный порядок.

VI.

На земском соборе 1613 года участвовали представители всех классов русского общества, в том числе и „уездные люди", в которых историки склонны видеть крестьян; но если это и были крестьяне, то наиболее зажиточные, „домовитые" представители крестьянства, которые не столько желали приобрести что-либо, сколько удержать то, что они уже имели. И потому учредительный земский собор 1613 года много сделал для восстановления государственного порядка, действуя в интересах имущих классов общества, и ничего не сделал для неимущих, для тех холопов и беднейших крестьян, восстание которых явилось главной революционно - разрушительной силой в Смутное

время в начале XVII в., силой, придавшей этой поре такой страшный и непримиримый характер. Если имущие классы, принимавшие участие в Смуте, под конец пришли в себя, покаялись и „наказались“, как метко тогда же было сказано, то неимущие, все эти беглые холопы и крестьяне, не добившиеся ни воли, ни земли, оставшиеся вне покровительства государства или „всей земли“, в прежнем положении, в крепостной кабале, не „наказались“ и остались при прежних своих стремлениях бороться за лучшее будущее. [1]) Они по прежнему полны ненависти к восторжествовавшему порядку жизни, при коем, как и раньше это было, они—лишние, и потому нет ничего неожиданного в том, что, отведя душу с себе подобными, согревая ее зеленым вином, они по-прежнему по кабакам, как свидетельствуют тогдашние сыскные дела, говорят „непригожие речи“ про „нонешних царей“.—„Что, де, нонешние цари?“, кричали, подгуляв, в царских кружалах при Михаиле Федоровиче Романове,—„нам те цари ноне не подобны“, т. е. не подходящи. Говорились и более решительные речи и не в кабаках только и все о том же, недавно избранном на земском соборе, царе. Так однажды к одному обнищавшему крестьянину пришел служилый человек, „по государеву делу“, т. е. что-нибудь сорвать. Не выдержало ретивое у крестьянина, и он, как свидетельствует сыскное дело о нем, начал „лаять матерны“ воевод и „говорил: мне, де, и государь стал пуще Лисовского (известного грабителя Смутного времени): животы, де, все взял“.

---

[1]) Это положение и все дальнейшее развивается, с указанием на источники, в моем исследовании: „Смута и народ на Руси в нач. XVII в.“, Москва, 1918 г. и в 1-ом томе моих „Исторических характеристик и эскизов“, Казань, 1922 г.

Из таких людей, по-прежнему ограбленных, продолжали составляться, после их побега от нужды и притеснений, шайки вольных, гулящих людей. Это все те, кого песня называет то „удалыми добрыми молодцами“, то „сиротами беглыми“, то „бурлаченками беспачпортными“, все те, которые в песне, обращаясь к туче грозовой, взывали:

„Ты, пролей, пролей част крупен дождик,
Ты размой, размой земляну тюрьму,
Чтобы тюремнички братцы разбежалися,
Во темном бы лесу собиралися.

Эти „сироты беглые“, хотя и называли вместе с остальным русским народом столицу Московской Руси Москву „матушкой“, но нередко относились к ней резко-враждебно не как к матушке, а как к мачехе. Москва и была по отношению к ним мачехой, ибо была центром боярско-дворянского правительства, беспощадного к беглецам от кабалы и крепостной неволи. И эти беглецы на далеких окраинах, на Волге, Дону, Яике таили в своей озлобленной душе надежду при случае посчитаться с ненавистными им правителями — боярами, „тряхнуть Москвой“.

Очерк второй.

РАЗИНОВЩИНА.

I.

Обще-русские и поволжские условия, приведшие народ к новому революционному взрыву.

После того, как государственный порядок был восстановлен, восстановились и те условия жизни в Московском царстве, при которых существование низших классов общества было и осталось в высшей степени тяжелым. На продолжающиеся внешние войны и на содержание чуть ли не полмиллионного помещичьего войска требовалось много средств, и потому подати, сборы и всякого рода натуральные повинности были велики и для крестьянства и мелких посадских людей совершенно непосильны. Посадские нередко, чтобы избегнуть таких платежей, брали на себя кабалу сильным людям и становились холопами, положение которых на деле ничем не отличалось от положения раба; многие крестьяне попрежнему не избегали холопства, а сверх того, крепостное состояние для огромной части крестьянства все более и более приближалось к состоянию холопа и, не освобождая в то же время таких крестьян и от государственных повинностей, делалось совсем невыносимым. Текущая жизнь, особенно требования, пред'являемые населению государством, ставили население в повседневное соприкосновение с предер-

жащими властями, с администрацией и судом, и вот тут-то и подстерегала всякого малоимущего человека самая горшая беда. „Государев сирота“, как такой человек униженно называл себя, попадал под полный произвол служилых или чиновных людей и ближайшим образом знакомился с ненасытным их аппетитом. Ему приходилось платить не столько в казну, сколько в просторные карманы этих людей. Он платил за то, чтобы его без остатку не разоряли, чтобы ему в конец „не погибнуть“, но чем больше он платил, тем скорее он разорялся,—а дело его в московских присутственных местах подвигалось вперед тем тише, чем скорее он приближался к конечной гибели; ибо московская волокита, вошедшая в пословицу, была одним из самых действительных средств для всего чиновного приказного племени выжимать из населения последние соки. За то чиновники и приказные богатели и процветали. В самое короткое время, у дьяков, от которых главным образом и зависели направление и ход дела в московских приказах, появляются в Москве каменные палаты, возбуждая всеобщее удивление, а в тех слоях населения, на средства которого эти палаты строились, и жгучее негодование. Этим слоям не за что было любить Москву и ея власть, и ненависть к государственному центру с невероятной быстротой стала распространяться и крепнуть по всему государству, чему способствовало и то обстоятельство, что страна в течение всего царствования Михаила Федоровича Романова не могла оправиться от хозяйственной разрухи Смутного времени. Поэтому не удивительно, что следующее за первым Романовым царствование Алексея Михайловича, которого современники прозвали „тишайшим“, хотя иногда

он был способен очень пошуметь и подрать бороды своим сотрудникам-боярам, наполнено шумом народных мятежей. Городские мятежи, разразившиеся в 1648 году в Москве, в Устюге, Сольвычегодске, в Новгороде, в Пскове и московский мятеж 1662 г. были вызваны увеличением налогов на военные издержки, а также грабительством близких к царскому трону бояр, приказных и богатых купцов, служивших правительству и обиравших народ совокупно с большими чиновными людьми; ко всему этому в 1662 году прибавилась страшная дороговизна при сильном подешевении медных денег, которые без меры выпускались вместо серебряной монеты с обязательством брать ее, как будто бы она серебряная, по номинальной, т. е. по вычеканенной по ней цене; обратно же в казну ее не принимали, требовали серебряную, а не медную монету, лишь с серебряной ценой. Последствием принудительного серебряного курса на медную монету и было то, что цены на товары невероятно поднялись; и потому мелкому служилому люду, получавшему жалование медной монетой, пришлось совсем плохо, вследствие чего в 1662 г. в Москве бунтовал главным образом этот люд; но и всему народу было плохо, ибо дороговизна, расстроившая всю хозяйственную жизнь в стране, была выгодна лишь крупным мироедам, да тем боярам и дьякам, которые стояли близко к монетному делу, заведывали им, и рука-владыка которых серебряную монету, стягиваемую в казну, не проносила мимо собственных карманов. Ненависть к этим людям, проявленная народом во время московского мятежа 1662 г., была вполне понятна; но „тишайший“ царь в таких случаях, когда требовали на суд и расправу его ближайших

родственников и друзей, шутить не любил. На эти требования он ответил расстрелом безоружной толпы, свирепыми массовыми казнями, посажением в тюрьмы и далекими ссылками. Ссыльные естественно распространяли недовольство властями в местах нового своего жительства, а так как после пытки и жестокого наказания немало людей с выжженной каленым железом на лбу буквой—б (бунтовщик)—было сослано им в Казань и Астрахань, то понятно, что в Поволжье, особенно в последнем городе этого обширного края, и стало распространяться враждебное отношение к Московскому правительству и ко всем его местным агентам-воеводам и их помощникам. Но на нижней Волге и вообще было немало недовольного, озлобленного люда, так как сюда направлялись беглые отовсюду из Московского государства, все те, кому на родине не нашлось места, обнищавшие посадские, все более и более закрепощавшиеся господами крестьяне. К половине XVII века закрепощение крестьян так далеко шагнуло вперед, что в своде законов, утвержденном и дополненном на земском соборе 1648 49 г.г., оно было оформлено, и, следовательно, подтверждено законом, как такое сост яние, которое не прекращалось, сколько бы времени беглый крестьянин не находился в бегах, срок для сыска беглых крестьян был отменен. Хотя то был земский собор, но на нем не было не только владельческих, но даже государственных или черносотных крестьян, дело вершили только служилые люди — помещики да купцы, а потому иного отношения к крепостной зависимости крестьян со стороны такого земского собора и не могло возникнуть. Разумеется, после утверждения крепостной неволи законом положение крепостных ухуд-

шилось, и они побежали от своих господ еще более усиленно. В побегах тогда преимущественно и выразилась борьба за землю и волю: бежали на новыя земли и там не только мечтали осесть, но и остаться вольными. Бежали на Волгу, но крепостная петля настигала крестьянина и здесь: памятники свидетельствуют, что положение крестьян в Поволжье было едва ли не менее обеспечено от произвола помещиков, чем в центральной области государства; ибо на новых местах, вдали от всякого правительственного контроля, помещик менее церемонился со своими подданными. Таким образом в Поволжье было свое, жгуче недовольное господами, русское крестьянство. [1]) Но там жило еще разнообразное инородческое население, сравнительно незадолго пред тем покоренное, бунтовавшее в так назыв. Смутное время и еще не примирившееся с властью Москвы. Поволжье было недавно приобретенной колонией, где процесс первоначального накопления развертывался во всю ширь московских аппетитов, и потому туземному населению приходилось особенно туго.

Москва раздражала инородцев и фискальными, и миссионерскими своими требованиями, которые ее агентами и монахами настолько усиливались, что инородцам, наприм., мордве, черемисам и др., как и русским крестьянам, ничего не оставалось, как бежать куда глаза глядят [2]).

Их тоже, как русских, ловили, били кнутом, желая прикрепить к местам, к коим они были приписаны, но, конечно, ничего не достигали, кроме еще большего озлобления, большей ненависти к

---

[1]) Подробнее см. в моих «Чтениях по истории Среднего и Нижнего Поволжья», 2-е изд., Казань 1920 г., стр. 114 и след...).

[2]) Ibid., 113.

Москве, к ее воеводам и приказным. Словом, Поволжье в XVII столетии пред Разиновщиной кипело недовольством низов населения. Но кроме Волги, не мало крестьян Московского государства бежало на Дон, в область казачества, давно свившего здесь свое гнездо, принимавшего всех, кто бы не приходил, и по своему обычному праву никого не выдававшего; ибо казачество повсюду на Днепре, на Дону, Волге и Яике создавалось беглецами из соседних государств, на Днепре преимущественно из Польши, на остальных названных реках преимущественно из Московии. Во второй половине XVII в. чрезвычайно много беглецов скопилось на Дону; это были боярские люди (т. е. холопы) и крестьяне, пришедшие с женами и детьми из Московского государства. Коренное донское казачество, давно здесь осевшее, жившее рыбными промыслами и случайной военной добычей, их безмолвно приняло, но кормить их не могло, ибо, не занимаясь земледелием, само кормилось привозным хлебом. Едоков оказалось больше, чем Дон мог прокормить, и потому здесь возник „голод большой", как свидетельствует оффициальное тогдашнее донесение, об'ясняющее причину голода именно наплывом на тихий Дон пришлых крестьян. Беглецы от крепостной неволи оказались на Дону лишними ртами. Они невольно должны были войти в беднейшую часть донского казачества, состоявшую как из пропившихся старых казаков, так и из недавних пришельцев, еще не успевших осесть и сделаться домовитыми. А у этой части донского казачества, у тогдашнего казацкого пролетариата была одна надежда улучшить свое положение, это собраться и идти куда нибудь за добычей. Нашелся скоро и вождь для такого похода. То был один из старых казаков — Степан Тимофеевич Разин.

II.

СТЕНЬКА РАЗИН,

как яркий представитель и вождь «голутвенного» казачества и «черного» (простого) народа.

Этот человек произвел глубокое, потрясающее впечатление на народные массы. Он всколыхнул умы и сердца черного народа. Про него были сложены песни, одна из которых „Не шуми ты, мати зеленая дубравушка", по преданию, приписывается ему самому, о нем не устает простой народ рассказывать легенды, как об его подвигах, так и о зарытых им богатствах и о нем самом, получившем в этих легендах бессмертие. Если человек сделался предметом народной легенды, то, значит, он был недюжинный, большой человек, на целую голову выше склонившейся перед ним толпы. Таким и был Разин. Это так же несомненно, как и то, что свою бунтовскую карьеру он начал с простых разбойничьих подвигов. Ибо, с другой стороны, он был донской казак, и ничто казацкое не было ему чуждо. Стремление получить „добычу казацкую" делало казаков разбойниками, и они не только не стыдились этого—они гордились и похвалялись этим: „мы веслом махнем, красну девицу возьмем, кистенем махнем—караван собьем", пели они в своей разудалой песне. И не только пели, но и сбивали караваны, становившиеся, таким образом, „добычей казацкой"; ее казаки делили или „дуванили" в своем казацком кругу. Добычничество было преобладающей чертой казацкой жизни, ибо казаки были прежде всего добычники. Общество людей, поселившихся особо от государства, в диком

поле, где не было всего, в чем нуждались эти люди, неизбежно делалось склонно искать необходимые товары повсюду, где только можно было их встретить, и, находя, привыкало их брать силой, вместе с тем привыкая думать, что это именно и есть настоящее казацкое дело. Оно, действительно, в весьма значительной мере заменяло казакам производство товаров: они приобретались не трудом, а саблей. Но тем не менее это приобретение было результатом общих усилий, а потому казаки привыкали думать, что все, участвовавшие в этом приобретении, имеют одинаковое право на известную часть приобретенного; так создавался и укреплялся в казацкой жизни принцип равенства; так возникал своеобразный казацкий коммунизм, в экономической сфере распространявшийся только на относительно равное распределение добычи, (ибо начальники, атаманы, конечно, получали больше рядовых казаков); по распределении, опять вступал в свои полные права индивидуализм: каждый был волен в доставшейся ему части, — мог ее и пропить и в „зернь“ проиграть, мог и приумножить на счет таких же игроков—„зерньщиков“. Словом, казацкий коммунизм распределения прекрасно совмещался с анархией потребления. На почве этой анархии образовались два класса казаков — „домовитые“, которым впрок пошла воля и добыча, и „голутвенные“, которые и на воле богатели только на минуту, а затем пропивались и проигрывались. Эти-то последние, „которые“, как говорит оффициальный документ, „голые люди и зерщики“, [1]) были тем общественным слоем, который с осо-

[1]) Московск. арх. Юстиции, Разрядн. Прик. Белогородск. стол., Столб. 671, Л. 183.

бой страстностью и настойчивостью стремился к равенству в распределении; ибо в этот слой входили все обездоленные и бедствующие элементы общества, и чем труднее становилось жить в нем низшим классам, беднякам посадским и крестьянам, изнемогавшим в XVII столетии под бременем как государственно-боярского, помещичьего, так и торгово-кулацкого, купеческого гнета, тем все более и более численно увеличивался означенный слой, которому при его нищете нечего было терять, но который, при натиске на высшие классы, мог расчитывать на приобретение многого, долженствовавшего поступить в раздел между всеми неимущими победителями. Последнее неизбежно вытекало из факта приобретения сообща. Это было слишком понятно: раз вместе, сообща приобретали, то каждый должен владеть приобретенным, следовательно, надо разделить приблизительно поровну. Другого вывода не могла сделать народная мысль из данного положения: так голутвенными элементами воспитывалась и укреплялась уравнительная тенденция в психике трудового народа, не выносившего неравенства уже потому, что слишком много ему пришлось страдать от экономического и политического порабощения высшими классами. Так неизбежно создавался в крайних, наиболее материально обездоленных, элементах наклон к своеобразному примитивному коммунизму. В культурном отношении простой народ в XVII столетии, да и позднее, переживал в сущности еще первобытную эпоху, почему иного коммунизма, разумеется, и возникнуть не могло, и, если голутвенные элементы, в рассматриваемом отношении, шли впереди всего простого народа, являясь наиболее радикальными сторонниками уравнительного

казацкого строя жизни, то во всех других отношениях они ничем, кроме словесной дерзости, не отличались от остальной народной массы: одни и те же обычаи и нравы об'единяли их с ней крепко, одни и те же боги были их общими богами. Таков по существу был и Степан Разин, сделавшийся вождем „голутвенного" казачества и вообще всего потянувшегося на его призывы неимущего люда на Руси.

Нет никакого сомнения в том, что, как личность, Разин заметен был в толпе, сразу мог обратить на себя внимание. Его физическая мощь, его быстрая сметливость, энергия и несокрушимая, но сокрушительная воля делали это внимание длительным, привычным для толпы, а оно-то и было психологическим источником его обаяния и власти. Уже после первых своих успехов на Волге, толпе начал казаться он человеком, отмеченным особою властью, знающим ведовство, колдуном, которого ни сабля, ни пищаль не возмет, а он возьмет все, что захочет, и даст народу то, что обещает—свободу и богатство, вольную и привольную, сытую и веселую жизнь, равно счастливую для всех голяков. Как же было не полюбить такого чудного казацкого атамана, не назвать его своим „батюшкой Степаном Тимофеевичем" или просто „Степанушкой?". Страстная, широкая, размашистая натура этого „батюшки" так подошла к „матушке" Волге, на простор и раздолье которой его с товарищами выкинули социально-экономические условия жизни народных масс на Руси. По внутреннему своему содержанию Разин был близок к этим массам. При всей кипучести своей мысли, смело шедшей против привычных представлений, он не сразу и не в полном об'еме разорвал с этими представле-

ниями. Было время, когда он ходил на богомолье в Соловецкий монастырь. Это было незадолго до его выступления против боярско-помещичьего и приказно-кулацкого государства: очень возможно, что паломничество Разина имело и чисто разведочную цель. Сам простой народ, повидимому, хочет верить, что его любимый „Степанушка" способен и каяться. Существует предание, что будто бы Разин однажды хотел разорить обитель, где „отшельники спасалися, души темные покаянием отмывать пришли", за что был ослеплен богородицей, и прозрел только тогда, когда покаялся. Так думает народ, и он прав в том отношении, что Разин, собственно с верой православной, в которой вырос, вполне никогда не разрывал, будучи плотью от плоти и костью от костей того народа, из которого вышел. Во время смертной борьбы с Москвой Разин, как свидетельствует современный розыск по делу о его восстании, имел духовника. „Войсковой черный поп Боголеп, белые попы Любим да Козел и многие казаки" показали: „У Стеньки Разина отец духовный был черный поп Феодосей". Этот „поп" близко стоял к Разину: по словам свидетелей, „тот старец всякие воровские Стеньки Разина замыслы ведал". Он за одно был с славным атаманом, и свидетели были убеждены, что именно он своим поповским колдовством охранял его—„от стрельбы по Стеньку кладывал". Был Разин с товарищами „в Черкасском городке"—поп Феодосий тоже неразлучен с ним: вооруженный кинжалом, разгуливал он с Разиным по городку и зорко, по поповски, следил за направлениями умов, и плохо было тому, кто сторонился от разинского дела: „которые к воровскому делу не приставали", тем черный поп

Феодосий „многие пакости и поругания чинил". Будучи арестован, Феодосий подтвердил, что он, действительно, был духовным отцом Разина, но сказал, что „учинился" таковым „поневоле"; в последнем, разумеется, позволительно усумниться, ибо поп Феодосий понагрел, во время своей разинской карьеры, руки и, как показывали очевидцы, из „Черкасского городка выехал он со многими воровскими животы". [1]) Как бы то ни было, Разин не считал возможным быть без духовного отца, хотя, может быть, не он, а поп исповедывался перед ним в своих „воровских" подвигах.

Быт очень крепок, и человек, восставший против политического и социально-экономического порядка Москвы, невольно, во многих отношениях, осуществлял свои „замыслы" в привычных для тогдашнего русского человека формах. Духовник был слишком „привычною" и потому необходимою принадлежностью русской жизни, — и Разин держал при себе „духовного отца"—так, для порядку. Дело в том, что своих многочисленных товарищей Разин не мог же сразу превратить в отрицателей установившихся в народе верований, если бы он сам даже был последовательным, глубоко идейным отрицателем. Нет, и в таком случае, он неизбежно должен был бы снисходить к верованиям большинства, а между тем Разин сам одной ногой стоял по ту сторону черты, за которую он шагнул от московских устоев в новую, вольную, без при-

---

[1]) М. А. б. М. Юст. Разрядный приказ, Белогородский стол. Столбец 712, Листы 60—73. Поп Феодосий был «растрижен» с патриарша двора отослан за караул на Мстиславский двор, а потом из Москвы был отправлен в ссылку. Может быть „многие животы", полученные им во время разинской службы, предотвратили более суровую кару.

вычных пугал, жизнь. Так, на лобном месте, после прочтения смертного приговора, пред самым исполнением его, Разин, как свидетельствует современник-англичанин, „перекрестился несколько раз, обращаясь лицом к церкви“, а затем „трижды на три стороны поклонившись народу, сказал: „прости“ [1]). Удивительно ли, после этого, что в войсках Разина тоже было свое православное духовенство, которое совершало необходимые разинцам требы— исповедывало умирающих, поминало в своих молитвах умерших, убитых в боях с царскими войсками. Так, напр., у одного попа („Микифора Иванова“), бывшего в одном стругу с Разиным и, как потом показывали, побивавшего вместе с ним людей, нашли, когда он был схвачен, — сверх всякой рухляди „в двух коробьях“, „его“ собственной „руки письмо“, в котором „были написаны на одном листу Стеньки Разина побитые казаки“. Как же „написаны“? А вот как: „Роспись тем людям, которые у полку Степана Тимофеевича да товарища его Василия Роонова (вероятно, Родионова) сына Усца, которые побиты: „Раба своего представившогося Ивана, убиенного Иосифа, убиенного Данила, убиенного раба своего Федора, Фомы, раба своего Федора убиенного, раба своего убиенного Ильи, убиенного Ивана, раба своего убиенного Григория [2]).

---

[1]) Чтения Общ. Ист. и Д. Р. 1895 г., кн. 3-я «Известие касающееся подробностей, недавно поднятого в Московии Стенькою Разиным бунта», стр. 15.

[2]) М. А. б. М. Ю. Разряд. Приказ, Белогорск. стол, Столб. 408, Лист 22. В „Росписи“, напечатанной в „Материалах“ Попова (стр. 13), перечислены не все „убиенные рабы“, которых находим в подлинной, напечатанной в настоящей работе впервые; в „материалах“ нет Ильи и Фомы, и порядок, в каком они перечислены, иной.

Отсюда понятно, почему в „прелестных памятях“ как самого Разина, так и других казацких атаманов, действовавших от его имени, православная вера являлась привычным лозунгом, за который предлагалось бороться, стоять, и при том не только русским, но и татарам, и чувашам, и мордве. Другим столь же привычным лозунгом, тесно связанным с первым, был „великий государь“ и его дом, за который мятежные или „воровские“ прокламации призывали стоять так же, как за „дом пресвятые богородицы и за всех святых“, и призывали тоже не только русских, но и инородцев. Очевидно, до других лозунгов, которые сразу сделались бы столь же популярны в русской народной массе, не додумались ни сам Степан Тимофеевич, ни тем менее его „работнички“.

Даже для воззвания к иным национальностям— татарам и проч., к которым прокламация обыкновенно обращалась заодно с обращением к русскому населению, не находилось иных лозунгов, кроме домов „пресвятой богородицы“ и „великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича всея великия и малыя и белыя России самодержца“: все население, без различия национальностей, заключалось в эту скобку. И Разину, усвоившему эту привычную оффициальную формулу, вероятно, представлялось, что, в силу ея привычности, против нее не станут протестовать и жившие бок о бок с русским населением остальные народы, ибо, де, они хорошо поймут, что оффициальные слова в сущности относятся не к ним, а к русским, и что на самом деле за оффициальными словами скрываются те действительные интересы, за которые борется та или другая группа населения. Это каждый из боровшихся понимал

всем нутром своим; русская „чернь“ понимала, что она стоит за себя, за освобождение от угнетавших ее бояр-воевод, бояр-помещиков и всяких богатеев; инородческая „чернь“ стояла за то же социальное освобождение, но в частности у татар оно соединялось и с политическим освобождением вообще от русской государственной власти, ибо татары, некогда державный народ в Поволжье, вполне-то не помирились с завоеванием и в лице их руководительного духовенства и мурз продолжали мечтать о восстановлении своего государства; да и другие народы, в особенности чуваши, плохо мирились с захватом их земель русским населением, и в своем восстании по кличу Разина и его эмиссаров в иных местах расправлялись с русскими крестьянами, очевидно, как со своими экономическими, а потому и политическими врагами. Разинское движение всколыхнуло самые разнообразные, часто противоположные интересы. Его вождю надо было только поднять низшие классы на организованное господство знатных и богатых,—это прежде всего, и потому в своей „прелестной памяти“, напр., к „разным селам и деревням“ Цивильского уезда Разин обращался к „черни, русским людям и татарам и чувашам и мордве“. Но зная, что есть и иные недовольные элементы в Московском государстве, он не брезгал и ими, в случае, если бы они пристали к восстанию; их Разин принимал под свое покровительство и оберегал их от „черни“, хотя их восстание, разумеется, не было бы восстанием против имущих, а только против московской власти, не социально-экономическим, а—политическим.—„А которые цивиленя дворяне и дети боярские, и мурзы и татаровя, гласила „память“—похотят за-одно тоже стоять за дом пресвятые богоро-

дицы и за всех святых и за великого государа и за благоверных царевичев и за веру православных крестиян, и вам бы, чернь, тех дворян и детей боярских и мурз и татар ничем не тронуть и домов их не разорять“ [1]).

Здесь, вероятно, под дворянами и детьми боярскими разумелись те же татарские и чувашские, но лишь крестившиеся мурзы и князьки, и потому ясно, что Разин стремился использовать и местный инородческий сепаратизм, лишь бы восстание было значительнее.

Ради этого Разин прибегал ко всевозможным способам, видимо, полагая, что, чем больше будет способов к возбуждению масс, тем вернее он достигнет широчайшего распространения восстания и, следовательно, победы над Москвой. Известно, что он пустил слух о находящемся на одном из его стругов царевиче Алексее Алексеевиче: этот струг, по сообщению современника, был обит красным бархатом; на другом, обитом черным бархатом, вещала молва, пущенная Разиным, плыл якобы освобожденный из монастырской ссылки патриарх Никон.

Разин в это время шел вверх по Волге — на Москву, ему нужны были сильные авторитеты для такого похода — Москвы боялись — и он полагал, что такие авторитеты — государственная и церковная власть. — Так думали и сподвижники Разина, другие казацкие атаманы, тоже писавшие и рассылавшие „прелестные памяти“. Напр., в одной из таковых, посланной от 8-ми разинских атаманов к „атаманам-молодцам и всему великому войску“

---

[1]) М. А. б. М. Ю. и Порфирьев, Разинщина. Казань, 1916, стр. 25.

(т. е. донскому казачеству) и призывавшей их на помощь, было сказано:... „пожаловать бы Вам порадеть за дом пресвятые богородицы, и за великого государя, и за батюшку Степана Тимофеевича, и за всю православную христианскую веру“ [1]). В привычных представлениях Степана Тимофеевича и его товарищей, равно как и всего русского народа, государственная власть олицетворялась в великом государе, а церковная в патриархе; следовательно, надо было действовать от имени этих первых лиц Москвы и при том так, чтобы массы поверили в такое руководительство движением; а какой иной способ можно было тогда придумать, кроме сделавшегося уже привычным со Смутного времени—самозванства. Лично Степан Тимофеевич не пожелал разыгрывать роль царя—он имел свой собственный удельный вес, пользовался среди масс слишком большой славой, чтобы для большого предпринятого им дела исчезнуть в чужом имени, авторитет его на столько был велик, что фактически он сам являлся царем всего черного народа и потому смело ставил свое имя рядом с именем настоящего царя Московского государства Алексея Михайловича; значит, кто-нибудь другой должен был разыграть царскую роль; разумеется, возможно было разыграть роль только мертвого царя, которого можно было бы об'явить неумершим, но ближайший к Алексею Михайловичу царь умер слишком давно, чтобы можно было его воскресить, и потому пришлось об'явить царевича, старшего царского сына Алексея Алексеевича незадолго до того умершого, здравствующим. Это тоже было традиционно, ибо в Смутное время тоже появля-

[1]) Разрядн. приказ. Моск. Стол., Столб. 141, лист 125.

лись все царевичи, а не цари (кроме второго Лжедмитрия), в качестве претендентов на Московский престол,—и вот царевич Алексей в разинских прокламациях оказался не только не умершим, но даже идущим вместе со Степаном Тимофеевичем на московских бояр... Это было полною неожиданностью для массы. Руководители движения понимали это и выразили в условном кличе—„Нечай“, что должно было означать как бы нечаянность появления пред „чернью“ царевича: „у нас ясак (клич) „Нечай“, говорили казаки народу, потому что „вы не чаете царевича. И как Нижний возьмем, в то де число увидят царевича все крестьяне“. „Царевича“ пока не показывали, скрывали... Так было таинственнее, еще более волновало народное воображение и привлекало „приставальщиков“ к движению, которым рекомендовалось надеяться: „Вы де чаите“, увещевали их атаманы [1]). Якобы скрывали до поры до времени и патриарха Никона, в лице которого Разин с товарищами признал церковную власть. Известно было, что Никона, как патриарха, погубили бояре; ясно, стало быть, он был против бояр, ненавидел их, а потому и должен явиться союзником заклятого боярского врага. И вот нежелание поддерживать разинское движение рассматривалось казаками руководителями, как измена „царевичу государю Алексею Алексеевичу и Никону патриарху и батюшке нашему Степану Тимофеевичу“ [2]). Всякий чувствовал, что все дело в „батюшке Степане Тимофеевиче“, а остальные два его компаньона поставлены „для порядку“; но все-таки этот порядок для воззваний казался

---

[1]) Материалы Попова, стр. 123.

[2]) Ibid.

единственным, во имя коего можно было поднять народ... на бояр. Именно — только для воззваний, для „прелестных памятей“! На деле же развертывалось в значительной степени иное, осуществлялось резкое отрицание старой жизни, не только социально-экономической, но и политической, чувствовался страстный порыв к новому ее порядку, к новому строю мысли.

III.

Первое выступление Разина — «за зипунами».

Из предшествующего изложения, кажется, ясно, что такой человек, как Степан Тимофеевич Разин, в высшей степени был способен явиться в качестве организатора голытьбы, не знавшей, куда приложить свои силы, и умиравшей с голода здесь, на казацкой стороне, куда беглецы пришли для воли и всяческого приволья. Про Разина и песня народная, которую сам народ, противополагая ее сказке-складке, называет былью, говорит:

Во казачий круг Степанушка не хаживал,
Он с нами, казаками, думы не думывал.
Ходил-гулял Степанушка во царев-кабак,
Он думал крепкую думушку со голытьбою.

„Думушка“ эта и была о том, как бы голытьбе поправить бедственное положение, в котором она находилась. Эта думушка тесно соединяла Степанушку со всеми бедняками на Дону. Возможно, что личные чувства увлекли этого старого и уважаемого казака к связи с голяками.

Имеется иностранное свидетельство о том, что Степан Разин затаил в своем сердце месть к мо-

ковским боярам за казнь одним из них, князем Юрием Долгоруким, его старшего брата, не пожелавшего со своей станицей оставаться в московском войске, вопреки запрещению ушедшего из него, но пойманного и осужденного на смерть... Хотя это свидетельство является одиноким и глухим, в нем, однако, нет ничего невероятного. Разин был видный человек в донском казачестве, казацкий круг ценил его и возлагал на него серьезные и ответственные поручения: так известно, что Разин был посылаем от Донского войска к калмыкам для заключения союза против крымских татар и, следовательно, для общей с ним службы— „великому государю". Но именно поэтому Разин понимал, что домовитые не порвут с Москвой, ибо их интересы во многом согласовались с интересами этого государства. Москва же Разину, после учиненного ее боярином насилия над близким человеком, сделалась прямо-таки ненавистна, и, руководясь этой ненавистью, видя, что тем же самым чувством проникнуты голутвенные, особенно только-что пришедшие из московских пределов, с неостывшей еще обидой,—Разин разорвал с казацким кругом и обратился к голытьбе. Какие бы мысли и планы не мелькали в его голове, но, несомненно, первое, о чем он думал, — это добыча: надо было приобрести побольше всякого добра и славы, надо было этим и щедростью еще более привязать к себе всех обездоленных, обиженных. Разин кликнул клич среди голытьбы, дабы собрать ее за „зипунами":

„Судари мои, братцы—голь кабацкая.
Поедем мы, братцы, на сине море гулять,
Разобьем, братцы, басурмански корабли
Возьмем мы казны, сколько надобно",

На клич отозвалось не мало „охочих“ до добычи людей. Первая „думушка“ их с Разиным была та, чтобы идти вниз по Дону-реке, выйти в море, но этот обычный план не удалось осуществить. Мало того, что низовья Дона были загорожены турецкими крепостями, у казацкого круга с Азовом был мир, и невыгодно было нарушить его; поэтому войсковое правительство воспротивилось предприятию Разина с товарищами в этом направлении, и он принужден был двинуться вверх по Дону, дабы, подкрепив свою ватагу в верховьях реки, откуда когда-то войсковое правительство призывало атаманов и казаков для похода на Азов, затем перебросится на Волгу. Так и вышло дело. Получив подкрепление из верховых городков не только людьми, но и оружием, и всякими припасами, Разин со своей стоянки на Дону выше Паншина городка, на буграх, окруженных полой водой, перешел на Волгу. В стане на донских буграх скопилось у него до 1000 удальцов и больше, на Волге число их увеличилось, ибо к нему пристало много рабочих и стрельцов с захваченных и ограбленных им судов. Начальные люди на этих судах были большею частью перевешаны на мачтах или посажены в воду, ибо редко кого из начальников миловал Разин, а если иногда и миловал, то лишь для большего посрамления: так, напр., приставленный к ссыльным служилый человек, будучи освобожден от смерти, был освобожден и от одежды и голым был оставлен на песчаном берегу с государевою казною. Ссыльные, разумеется, были отпущены на все четыре стороны, и им, а равно, вообще, всем рабочим и стрельцам, бывшим на судах, Разин сказал: „Вам всем воля: идите себе, куда хотите; силою не стану принуж-

дать быть у себя; а кто хочет идти со мной—будет вольный казак. Я пришел бить только бояр да богатых господ, а с бедными и простыми готов, как брат, всем поделиться". Само собой понятно, что все, к кому были обращены эти слова, присоединились к дружине Разина. А найдя доступ в сердца бедных и простых людей, этот необычный атаман нашел затем легкий доступ в поволжские города, которые не открыли бы так скоро своих ворот Разину, если бы пред тем не открылись ему сердца всех неимущих и подневольных. Плывя вниз по Волге на 35 стругах с дружиною до 1500 человек, Разин пробился в Каспийское море и доплыл до устья Яика, где уже поджидали его сообщники. Из Астрахани была послана за Разиным погоня из стрельцов и солдат, которые нагнали его на Яике, но на свою голову, ибо они были на голову разбиты Разиным: его удальцы многих стрельцов и солдат „на бою побили", повествует дошедшее до нас сказание о Разинском бунте, „а иных стрельцов и солдат, многих живых побрали и струги и ружья отняли и взяли Яицкий городок и самых лучших людей астраханских жителей, голов и сотников, стрелецких и начальных людей солдатского строя и стрельцов, и солдатов и яицких жителей и всяких чинов людей, которые к ним, ворам, не похотели, над ямою, которую велели выкопать, порубили больше тысячи человек". По взятии обманом Яицкого городка, Разин попрежнему предоставил жителям полную свободу: „Даю всем волю", сказал он, „я вас не силую: хотите за мной в казаки идите, хотите ступайте себе в Астрахань". Стрельцы не только слышали эти слова, но и видели расправу Разина над своей же братией, и потому лишь часть их вошла в состав разинской

вольницы, а часть направилась в Астрахань. За этой частью однако была послана Разиным погоня, которая, настигнув стрельцов, жестоко с ними расправилась: их рубили и бросали в воду. Это подействовало на некоторых, поспешивших преклониться перед силой и войти в разинскую ватагу, иные, наоборот, бежали дальше и попрятались в прибрежных камышах.

Перезимовав в Яицком городке, откуда разинцы торговали с калмыками и казацким делом промышляли на море, Разин повел свое увеличившееся войско к еще большей добыче. Весной 1668 года он начал „гулять“ по морю: здесь к его войску присоединилась новая семисотенная шайка Сережки Кривого, смело по Волге бросившаяся вслед за Разиным на море; и удалой Стенька с не менее удалым Сережкой совершил отважный набег на берега Персии. Эти берега от Дербента до Баку были начисто опустошены казаками. Целый год пробыл Разин в Персии, не мало потерял он людей в боях с персианами, в том числе и одного из самых отчаянных голов своих — Сережку Кривого; но не мало побил и побрал в полон и персиан, не мало собрал „зипунов“ для своих многочисленных товарищей,—и, наконец, обремененный богатой казной—добычей, видя, что при дальнейшем промедлении он может потерять не только все приобретенное саблей и чеканом, но и все свое войско, сильно поредевшее не от одних боев, но и от болезней, Разин двинулся вновь на Волгу. Ему предшествовала тысячеустая молва о его прежних волжских и недавних персидских подвигах. На Волге его ждали. Но и на Дону голытьба волновалась. Еще когда он хозяйничал в персидской области, к нему собирались идти с Дону разные

воровские шайки, возбужденные слухами о Разине и Сережке Кривом, при чем атаманы этих шаек даже хвастались. что „они и лучше того учинят“, т. е. лучше того, что учинили Стенька Разин и Сережка Кривой. Эти похвальбишки ждали к себе только „из войска“ „промышленников войсковых“—„Ивашку Жопина да Исайку Рота“, чтобы „идти на воровство“. И на Хопре замышлялось большое „воровское собрание“: все по тому же примеру Сережки Кривого ходил другой Кривой—казак Минка, да еще казак Пашка, ходили они, как показывали приехавшие с Дону царицынские стрельцы, „для поиску за Сережкою Кривым с товарищи и казаков многих побили“. Теперь они хвалились: „Мы ныне не то учиним, пойдем прямо на Царицын“... И по рассказу очевидцев, „хотели тех стрельцов... бить, да и во многих городках“, прибавляли рассказчики, „на Дону и на Хопре казаки похваляются итти на Волгу“. [1]) Таково было настроение в мире казацкой вольницы в тот момент, когда Разин появился снова на Волге. Московскому правительству было известно об этом настроении; известно было и о готовности всего черного люда поволжских городов, при первом удобном случае, вступить на „воровской“ путь, и потому Московское правительство заранее готово было забыть вины удачливого вождя казацкой голытьбы, обогащенной морским походом, если бы он с товарищами своими обязался отстать от „воровства“. В ответ на полученную царскую грамоту Разин послал для переговоров с астраханскими воеводами двух выборных, которые „от всего войска“ и сделали московскому правительству сле-

[1]) Материалы, 31.

дующее предложение: „Чтоб великий государь пожаловал,—велел вины их им отдать и... на Дон их отпустить с пожитками их, а они за те свои вины рады великому государю служить и головами своими платить, где великий государь укажет, а пушки, которые взяли они на Волге на посаде и на стругах и в Яицком городке и в Шаховой области, отдадут и служилых людей астраханцев и иных низовых городов отпустят, а струги и струговые припасы отдадут в Царицыне".

26-го августа (1869 г.) в Астрахани, когда Разин „с товарищами", в знак принесения „великому государю" своих вин, у приказной избы сложил бунчук и знамена, то астраханские власти от него приняли лишь несколько человек персидских пленников, но отнюдь не пушки, относительно которых Разин сказал, что они их „отдадут"; посулил он отпустить и русских служилых людей „без задержки".

Однако в дальнейшем оказалась серьезная задержка. Разин выдал лишь то, что ему было более ненужно — морские струга и тяжелые пушки числом 21, а 20 более легких пушек, удобных для передвижения степью, оставил у себя; что же касается взятой разинской вольницей добычи, то между казаками и воеводами, как сообщает оффициальный документ, происходили „всякие разговоры и с принуждением". Но казаки не боялись „принуждения". Они чувствовали себя победителями. Даже в самой Москве, куда была послана депутация из 6-ти человек, казаки вели себя достаточно непринужденно, откровенно рассказав о всех своих „воровских" подвигах,—о том, как „они де отобрався охочие люди пошли на Волгу и с Волги на море без ведома войскового атамана,

Корнила Яковлева", со своим „начальным человеком Стенькой Разиным", как потом к ним „приставали" „всякие вольные люди" и на Волге, и на Яике, и из Астраханы, и из иных городов", как они казаки,—„охочие и вольные люди на Волге, на Яике и на море", „воровали бусы и всякие судна громили и людей всяких чинов русских и иноземцев грабили и побивали" и проч. Казаки были уверены что они будут помилованы, и, действительно, московское правительство ограничилось тем, что по указу великого государя „вины казакам были выговорены" — вместо смерти им был дан „живот", чтоб они за свои вины служили великому государю и „вины свои заслуживали"; относительно же награбленного в приговоре сказано было слишком в общей форме, допускающей всякие толкования: „а что они взяли шаховых людей и животы многие и то все у них взять и отдать шаховым купчинам в Астрахани".

Благодаря такой форме государевой грамоты, Разин считал своим и своих товарищей правом, если отдавать пленников и пожитки, то не иначе, как за выкуп; воеводы же астраханские в начале держались иного взгляда на казацкую добычу и даже полагали, что всех разинских казаков следует переписать. Две силы стояли в Астрахани одна против другой — правительственная и разинская. Эти силы спорили. Между ними происходили „всякие разговоры" и не раз, не два, а, по официальному свидетельству, „многажды".

— „Отдайте", говорили Разину с товарищами воеводы. — „отдайте дары, которые купчина вез великому государю, шаховы и купчинины товары и всякие пожитки сполна, да и полонных людей всех же отдайте".—„Раздуванены (разделены) уже

товары и пожитки", отвечали Разин с товарищами:— „и после дувану у иных проданы и в платье переделаны, — отдать им нечего и собрать никак не можно. Полон же мы взяли за саблею, многая братья наша побита при том и в полон поймана. Да ныне", прибавлял Разин,—„и полон тот в разделе, и достался один полонянник то пяти, то десяти, а то и двадцати товарищам".

О переписке они и слышать не хотели: „а переписки казакам на Дону и на Яике и нигде по их казачьим правам не повелось", отрезал Разин, а потом, вспомнив о государевой грамоте, начал указывать, что в ней „не написано" повеление переписать казаков, равно как и отобрать у них пушки, полон и рухлядь. Последнее было вольным толкованием вольного человека: без выкупа „иманное" саблей взять у него и его товарищей он допустить не мог. Непреклонно встал Разин и за оставленные им у себя пушки, говоря, как о деле решенном, что, пройдя степью от Царицына на Дон, он пришлет „те пушечки" из Паншина-городка в Царицын. Воеводы поняли, что дальнейшая настойчивость с их стороны не безопасна — казацкая сабля могла снова разгуляться, — и потому уступили. Разин победил. Какие товары и какой полон можно было выкупить у казаков, те выкупались, „а без окупу того полону и купчинных даров"... „и товаров" воеводы „у казаков Стеньки Разина с товарищами в неволю имати не смели", свидетельствует оффициальная отписка в Москву. Когда же родственники разинских полонянников— персияне упрекали воевод в потворстве разбойникам, то представители Московской государственной власти отвечали: „эти казаки холопы великого государя, а не разбойники: уже вина им отдана; что

взяли они грабежом ясырь и имущество на войне, так это зачтено им в жалованье и до того нет никому дела",

Разин и его товарищи понимали, что их боятся, что опасается их сама Москва, осведомленная о положении дел в Нижнем Поволжье воеводскими сообщениями с мест, из понизовых волжских городов. Воеводы не скрывали причины своей боязни Разина с товарищами. „Чтоб они вновь шатости к воровству не учинили и не пристали бы к их воровству иные многие люди и от того межь людьми кровопролитие не учинилось", писали воеводы в Москву.

Видели воеводы и то глубокое впечатление, которое произвели на простой народ в Астрахани казацкие удачливые подвиги, сделавшие голяков богачами, гулявшими по городу в шелку и бархате, с драгоценными камнями на шапках, видели и страх перед ними астраханских властей. Население с восторгом взирало на успехи людей, вышедших из недр того самого простого народа, который толпился на астраханских улицах; здесь создалось сразу повышенное настроение, появилось чувство удовлетворения, что на улице не властей и господ, а детей народа—праздник, стала мелькать мысль, скорее ощущение, чем мысль, что казаки — сила, если с ними так чинятся власти. Сам атаман Степан Тимофеевич, отличавшийся от своих товарищей только своей богатырской фигурой и тем, что он, действительно, был старший по своему влиянию и значению среди равных по положению, особенно поразил воображение толпы, сразу сделался ее героем, ее „батюшкой", как она его называла, опускаясь иногда пред ним на колени... Разин, разгуливая среди народа, ни в чем не отказывал бед-

някам; показывая им милость и внимание, он не считал того, что было у него из привезенной добычи, и раздавал золото и серебро всем и каждому. Такая сказочная щедрость чудного атамана, все глубже и глубже погружавшегося в сферу народных вымыслов и легенды, крепко привязывала симпатии черни к этому вождю вольницы. Другой стороной прибытия Разина с товарищами с моря в Астрахань и отдания им „вин" было то, что в настроении местного простого люда скоро обнаружилась полная эмансипация от чувства страха пред предержащими властями и готовность действовать не по их желанию, а по воле батюшки Степана Тимофеевича. Если Разин с товарищами, обстоятельства и вся обстановка, при которых они жили в Астрахани, произвели именно такое влияние на астраханское население, то замечается и обратное психологическое воздействие народного восторга и преклонения перед казаками на Разина и его товарищей. Они почувствовали, что между ними и простым народом установилось тесное единение, что они связаны с ним крепкими незримыми нитями, и что в этой связи заключается серьезная их, казаков, опора, и что им особенно не стоит бояться Москвы. И, действительно, все поведение Разина, пока он был в Астрахани и затем в пути по Волге, показывает, что этот атаман считал себя вовсе не помилованным преступником, а народным вождем, готовым постоянно вступиться за обиженных и гонимых, за интересы меньших, черных людей.

Но вместе с тем в Астрахани широко развернулась могучая и страстная натура Разина. По временам удача и в изобилии лившееся зелено вино несколько кружили его голову. В такие минуты,

казалось, он готов был на все. Астраханские воеводы, чувствуя его силу и влияние на многолюдную его дружину и на весь черный люд, вели себя сдержанно, ибо, наоборот, служилых людей у них было „малолюдно“, да и те были „шатки и к воровству склонны“. Следовательно, и у стрельцов без хмеля стали кружиться головы, ибо недовольство давно гнездилось среди мелкого служья Поволжья, а картина вечного праздника и разливанного моря у Разина „с товарищами“ возбуждала их собственные аппетиты. Что хотел „Степанушка“, то и делал, дерзая на все,—и это торжество воли Разина еще сильнее привлекало к нему умы и сердца простого народа, который тогда впал как бы в особый род коллективного гипноза. Все в любимом атамане поражало народное воображение, отложилось в народной памяти и утопление Разиным прекрасной пленницы—персиянки, его любовницы. Катаясь и пируя со своими сподвижниками и товарищами на Волге, Разин, сильно захмелевший, внезапно вскочил и, подойдя к борту струга, сказал: „Ах ты, матушка, Волга, река великая, много дала ты мне злата и серебра и всего доброго, как отец и мать славою меня наделила, а я тебя еще ничем не отдаривал; наж тебе, возьми“. И в каком то диком, необузданном порыве атаман схватил красавицу-персиянку и бросил в Волгу.

Нет ничего удивительного, что такой „добрый молодец“, при создавшейся в Астрахани и вообще на Волге обстановке, мог относиться к воеводам не иначе, как с большим высокомерием и жестокостью. Он ни во что ставил увещания, с которыми обратились к нему астраханские воеводы, когда отпускали его „с товарищами“ на Дон,—увещания в том, чтобы „они из Астрахани... Волгою идучи...

никаких людей с собою на Дон не подговаривали, а своею волею пристающих к ним бы не принимали и за то от великого государя опалы на себя не наводили". Но Разин в пути своем по Волге стал поступать как раз обратно этим увещаниям. Стрельцов он „подговаривал" к поступлению в казаки, а к начальству, к стрелецким головам, относился „с большим невежеством", как потом эти последние жаловались в Астрахани: он „останавливал их и приказывал им быть к себе неведомо для чего, а пятидесятника да пятисотного, которого они, головы, посылали к нему, Стеньке, с отповедью, у себя задерживал и при них бранил их и их, голов, матерны и хотел посылать за ними многих казаков в стругах боем". Когда же к нему с требованием выдать „подговорных людей" обратился главный астраханский воевода кн. Прозоровский, с требованием, подкрепленным угрозой, то Разин прямо рассвирепел и начал кричать на посланца: „Как ты смел придти ко мне с такими речами. Чтоб я выдал друзей своих. Скажи воеводе, что я его не боюсь, не боюсь и того, кто повыше его. Я увижусь и рассчитаюсь с воеводою. Он дурак, трус. Хочет обращаться со мною, как с холопом; но я прирожденный вольный человек. Я сильнее его: я расплачусь с этими негодяями".

Словом, Степан Тимофеевич, уже в этот момент своего выступления на Волге, смотрел на себя, как на защитника всех обездоленных, беглых и как на карающую десницу по отношению к властным притеснителям народа.

Такова была позиция, занятая Разиным. Она-то и воспитывала быстро в народных массах бунтовские или стихийно-революционные чувства. Это и

было ближайшим последствием возвращения Разина с товарищами с моря Хвалисского на Волгу. Ясно, что, когда, наконец, они вернулись на Дон, надо было ожидать нового нашествия казаков с Дона на Волгу, где на известной нам социально-экономической основе создалась теперь и необходимая для казацкой вольницы массовая психология. Надо было ждать нового „шуму", которым, по преданию, грозил Разин воеводе, еще будучи в Астрахани. Воевода пожелал иметь богатую шубу, бывшую на Разине, когда тот прибыл к воеводе на струг в гости—атаман отдал шубу, в сердцах сказав: „возьми, братец, шубу, только не было бы в ней шуму".

Посхвалялся он „воровством впредь" и позднее, когда чинил свои „невежества" в Царицыне. Новое „воровство" не замедлило. Это было уже сильно зашумевшее народно-революционное движение, громовые раскаты которого отозвались во всех уголках сермяжной Руси.

IV.

Подготовка Разина к новому выступлению.

Вернувшись на Дон осенью (1669 г.), Разин не терял времени даром. Прежде всего надо было подумать, где провести зиму. Не доверяя домовитым казакам, Разин решил устроиться на зимовку отдельно от них, на новом месте. Между городками Качальником и Ведерниковым ниже первого по Дону „с версту" на небольшом (версты с три длиною) острове вольница Разина понаделала для себя и своего атамана землянок,—и таким образом

возник земляной разинский городок. Он явился центром новой народившейся на Дону силы—голутвенных казаков. Таковые, не участвовавшие с Разиным в его удачном предприятии на Волге и за Каспием, но слышавшие о богатой добыче, привезенной участниками разинского „воровства", были рады, что „Стенька Разин с товарищами пришли на Дон": они называли его отцом и были готовы итти за ним, куда он их поведет. Так приобретенная Разиным громкая слава делала его вождем всей голутвенной Руси, всего тогдашнего пролетариата. Уже это обстоятельство само подталкивало Разина на более крупное предприятие, чем простой казацкий набег за добычей. К удачливому, счастливому, обвеянному таинственной дымкой легенды атаману-чародею шли охотно со всех сторон. Но приходу Разина на Дон были несомненно рады и те домовитые казаки, которые ссужали голутвенных оружием и платьем для получения от них потом половины добычи. Теперь происходил дележ богатой добычи между хозяевами и работниками, и первые, удовлетворенные в полной мере, вероятно, не прочь были опять послать последних за новыми „зипунами". А так как голытьбы на Дону было много и „кормиться" ей было „нечем", то невольно возникала уверенность, что с наступлением весны без нового организованного „воровства" дело не обойдется.

И чем дольше оставался Разин на Дону, тем более и более крепла эта уверенность. Боялась Разина Москва, боялось и донское войсковое правительство. Последнее было поставлено возвращением Разина на Дон в большое затруднение. Войсковое правительство не знало, как отнестись к Разину: как к прощенному „великим государем"

своему брату казаку или как к вождю „воров“, готовому снова пуститься на „воровство“ и совсем не склонному считаться с общими интересами домовитого донского казачества. В конце концов, лишь самый верхний слой донского казачества определенно был настроен против Разина, остальные же донские казаки, не „нарочитые“, а простые рядовые казаки, составлявшие средний слой простого казачества, в рассматриваемый момент несомненно находились в колебании,—и на них трудно было положиться верхнему слою: ведь очень многие из них, если и не отваживались принять личное участие в „воровстве“ Разина, то все таки могли рассчитывать на целую половину будущей добычи за подмогу предприятию необходимым для него снаряжением. Таким образом сочувствие казацкого большинства оказывалось явно и тайно на стороне Разина, почему ему открылся полный простор действовать. Перезвав в свой земляной городок из Черкаска свою жену и брата Фрола, Разин здесь приступил к энергичной агитации. Приходивших к нему „беспрестанно“ „голутвенных“ он ссужал всем, что имел, и „всячески уговаривал“ а тех, которые у него уже были, держал крепко у себя и, если отпускал на побывку домой, то, лишь „за крепкими поруками“. И для постороннего наблюдателя ясно было, что Разин настойчиво собирает войско и своими речами и посулами стремится вдохнуть в него готовность итти за ним, как за своим вождем: „приказывал он казакам беспрестанно“, сообщали в Москву правительственные агенты, „чтоб они были готовы“.

Войско это увеличивалось. Громкая слава Разина привлекла в его стан и Запорожцев или „Черкас из Запорожских городов“, по словам офи-

циального документа. Уже осенью, в ноябре, у Разина набралось до 2.700 чел.; в дальнейшем же это войско обещало увеличиваться „беспрестанно", чему содействовала несомненно и та таинственность, в которую Разин облекал свои планы, „а какая у него мысль", доносили агенты, „про то и его казаки не многие ведают, и никоторыми мерами у них, воровских казаков, доведаться не мочно".

Предприятие, очевидо, готовилось серьезное, и до поры — до времени его цель об'являть было опасно—могли быть спешно приняты и серьезные меры, а кроме того, самая серьезность предприятия, преждевременно выяснившаяся, могла отпугнуть от него колеблющихся. Для „голутвенных", стекавшихся к славному атаману, пока достаточно было знать, что он их поведет к славе и богатству, которые уже приобрел сам и разделил со своими прежними товарищами. Этого было довольно знать и остальному казачеству, многие из коего снова мечтали, при помощи „воров", понагреть себе руки. При таких социальных условиях, увеличивая и укрепляя уговорами и приказаниями свое войско, Разин вместе с тем выростал и сам в своем и казацком мнении, а к весне вырос на столько, что ему сделалось можно из центра голутвенных, земляного городка, безбоязненно явиться в центр домовитых, в Черкасский городок, и здесь открыто повести свою агитацию в казацком кругу, из которого он когда-то ушел к „голи кабацкой". В кругу, как свидетельствует оффициальный документ, „учал говорить воровские-развратные речи, наговаривая, чтоб, к их воровству иные приставали". Некоторые возражали Разину— „учали встрешно говорить". Это были, сравнительно немногие, „нарочитые" или „добрые" казаки,

представители донской казацкой буржуазии. Их сопротивление Разин сломил террором: „он, Стенька, с товарищи своими, хотя учинить страх, добрых казаков побивал и в воду метал". Это ему сошло с рук, ибо сила была на его стороне: не только „товарищей", но и сочувствующих ему было, очевидно, много. Это видно и из того обстоятельства, что он перестал церемониться не только с „добрыми казаками", но и с привычными для массы, „добрыми" религиозными представлениями. До его появления в Черкасске, здесь сгорели церкви, и казаки толковали о том, чтобы построить новые; но Разин, узнав об этом, воспротивился построению церквей и смело стал высказывать антирелигиозные воззрения—„износил на имя господне и на святую церковь хулу". Называя попов царскими богомольцами, он считал их врагами своими, почему, увлекаясь борьбой с ними, не щадил и самых верований, которые в другое время охотно исповедывал и сам. В Москве о такой агитации Разина были осведомлены,—и „великий государь" в грамоте оповещал население о следующих „дуростях" этого смелого человека: „отступил", вопияла царская грамота, „от святые соборные и апостольские церкви и про спасителя нашего Иисуса Христа говорит всякие хульные слова и нам, великому государю, и всему Московскому государству изменил и церквей божиих на Дону ставить и никакова пения петь не велит, и священников с Дону сбивает и велит венчаться около вербы".

Иностранец-современник и народное предание подтверждают отрицательное отношение Разина к церковному браку. Возможно, что под веселую руку удалой атаман и говорил: „на что церкви и

попы? Венчаться? пропляшите вокруг куста, вот и повенчались". Стоять за то, чтобы „жить без браку", за свободную любовь, Разину ничего не стоило: это он и его товарищи осуществляли на деле, но было бы ошибкой приписывать Разину атеистическую точку зрения на подобные вопросы, что он был сознательным отрицателем религии и установленных церковью таинств. Нет, как ясно из вышесказанного (гл. III), скорее всего он был индиферентистом в делах веры и относился к ним сообразно с обстоятельствами и своим настроением, которое у него, как и у его товарищей, было очень изменчиво. Таким образом нападки Разина на религию, гонение его на попов, сбивание их с Дону выходили не из религиозного разногласия, а из побуждений борьбы, разделившей служителей церкви на две неравные части, на большинство, оставшееся в стане его врагов, и меньшинство, перешедшее на его сторону. Именно борьба, начатая Разиным против высших классов, а ничто иное, обусловила отношение его не только к „царским богомольцам", но и к православной вере, которая входила и в его собственные привычки. Эта вера в рассматриваемый момент вставала Разину поперек дороги, и он без колебания отшвыривал ее, как препятствие к исполнению его замысла. Современники так и поняли антирелигиозные выходки расходившегося „воровского" атамана, выходки, имевшие своею ближайшей целью—„истинные христианские народы от бога отлучить и осквернить". Церковь и государство были неразрывно связаны тогда друг с другом. Бог и его служители стояли на страже господствовавшего „на Москве" государственного порядка, сверху до низу проникнутого религиозной тенденцией, — и Разин прежде

всего восстал против них: ясно, что замысел его был восстать против Московского государства. На это указывает и то, что, занимаясь вербовкой и агитацией на Дону, Разин не поцеремонился с присланным сюда представителем Московского государства. Жилец Герасим Евдокимов от „великого государя“ привез донскому казачеству в Черкасск „милостивую грамоту“, как он сам ее назвал, когда Разин, явившись в круг со своими казаками, спросил его о цели его приезда; но Евдокимов, конечно, умолчал о другой, секретной, цели его миссии— „проведать всякими мерами подлинно, где ныне Стенька Разин и с ним атаманы и казаки с Михаилом Самаренином с товарищи — в совете ль или не в совете, и ссылка меж ими есть ли, и к тому Стеньке казаки к ево злому умыслу на всякое воровство не пристают ли“. Было кстати приказано разведать и про калмыков, „где они кочуют, на Дону или где инде и с кем они в ссылке“. Московское правительство было уверено в „злом умысле“ Разина и хотело выяснить его положение по отношению к другим местным силам. Проницательному атаману не трудно было проникнуть в истинный смысл приезда царского посланца, принятого войсковым правительством „честно“ и собиравшегося в обратный путь в Москву, куда казацкий круг решил вместе с ним отправить свою депутацию. Но не пришлось жильцу Евдокимову вернуться домой: Разин, явившись со своими казаками в следующее собрание круга, когда выбирали „станицу“ для посылки к царю, казнил царского посланца. Это было брошенной им перчаткой Московскому государству, открытым заявлением о своем „злом умысле“. И не мудрено: Разин сознавал свою силу. Отмежевываясь с ней от домовитых, казац-

кой буржуазии, он гордо заявил представителю войскового правительства, атаману Корнилу Яковлеву (который был крестным отцем Разина): „ты владай своим войском, а я владею своим войском". Количество этого Разинского войска „голутвенных", казацкого пролетариата, продолжало увеличиваться, ибо оно вбирало в себя всех любителей добычи, всех неимущих, озлобленных людей, и раньше собиравшихся в разбойничьи шайки. Когда Разин, двинувшись из Черкасска вверх по Дону, остановился в Паншине-городке, к разинскому войску присоединилась большая шайка Васьки Уса, уже прославившегося тем, что раньше он в деревнях поднимал крестьян на помещиков. С таким войском, достигшим солидной для тех времен и мест цифры— до 7000 чел., можно было приступить к осуществлению „злого умысла". При всем том, главная активная поддержка ждала Разина впереди. Это— поддержка со стороны черного народа поволжских городов и крестьянского населения—прежде всего того же громадного поволжского района; ибо для всех низших классов боярское государство было той страшной, неудобоносимой тяжестью, которую им всегда хотелось „избыть", а то так и совсем сбросить с себя. Обширный инородческий мир Поволжья, угнетенный еще более, чем русский, тем же государством и его союзницей церковью в лице их представителей на местах (воевод, приказных дозорщиков, сыщиков, попов, миссионеров), мог тоже поддержать восстание против Москвы, раз оно началось в русском мире.

Словом, все говорило за то, что новое движение Разина на Волгу с войском голутвенных казаков, разных авантюристов и искателей добычи превратится в стихийную народную революцию.

V.

Революционное выступление Разина.

§ I.

Разин в Царицыне и Астрахани.

Весной 1670 года Разин со своими товарищами-голутвенными донскими казаками во второй раз появился на Волге. Появился он теперь здесь не с грабительскими, а с чисто революционными целями, дабы, подняв обездоленные и закрепощенные народные массы, сгибавшиеся под бременем быстро развивавшегося торгового капитализма, освободить их и вернуть им хозяйское положение в стране. Когда Разин начал брать поволжские города, казнить воевод, дьяков, дворян, богатых купцов и всех, так или иначе державшихся за власть и высшие классы, истреблять приказные дела и устанавливать в городах казацкий порядок жизни, то началось общее восстание черного народа не только городского, но и сельского, восстание крестьян, снова, после смутного времени, поверивших, что пришла пора сбросить с себя крепостную петлю и вернуть себе волю и землю. Всюду Разин рассылал своих людей, эмиссаров, с грамотами к народу или, как они называются в документах,—с „прелестными памятями“ или „письмами“, призывавшими крестьян к начатой им борьбе „за чернь“. От самого Разина, когда он обращался непосредственно к народной толпе, она слышала приблизительно такие речи:— „Мстите теперь вашим мучителям, что хуже турок и татар держали нас в неволе. Я пришел даровать

вам льготы и свободу. Вы мне братья и дети, и будете вы так же богаты, как я, если останетесь мне верны и храбры".

Востание от братских речей, разумеется, разгоралось. Месть мучителям охватила громадный район. Народная песня твердо запомнила, что восстание народа было сильным выражением народного гнева. В песне астраханский губернатор, догадавшись, что дело плохо, предложил „бурлакам, людям вольным"—„золотую казну, цветно платье губернаторское, диковинки заморские все вещицы астраханские"; но от всего отказались „удалы люди вольные":

„Как твоя нам не дорога золотая казна",—
сказали они;
„Нам не дорого ни платье губернаторское,
Нам не дороги диковинки заморские,
Нам не дороги вещицы астраханские:
Дорога нам буйная твоя головушка.
Когда „головушка" была отрублена и брошена „в Волгу—матушку",—
„Молодцы ему тут насмеялися:"
„Ты, добре, ведь, губернатор, к нам строгонек был.
„Ты, ведь, бил нас, ты губил нас, в ссылку ссылывал,
„На воротах жен наших, детей наших расстреливал".

Не все однако падали жертвой народного гнева. Происходил народный суд, и казни подвергались лишь те, которые были обвинены этим судом или „облихованы миром". Но казацкое устройство общества, в котором „всяк всякому равен", обеспечивало такой народный суд, пред которым оказы-

вался виновным весь боярский и помещичий класс, и из всей обвиненной общественной группы исключались очень немногие, „не обляхованные миром“.

Первый город, на который обрушился Разин, когда весной 1670 г. вновь появился на Волге, был Царицын.

Едва стала заниматься заря, подошел Разин с конной и пешей своей ратью к городу. Там ударили в набат и выпалили из пушки, но это не помешало Разину и его товарищу Василию Усу, подступившему к Царицыну на судах, Волгой, тесно обложить город и даже поставить к его „надолбам“ свои красные знамена [1]).

В состав разинского войска, кроме донских голутвенных казаков и всяких других голяков из Великороссии, были и Запорожцы. Для того, чтобы прокормить это войско под Царицыном, Разин разгромил Едисанских татар, кочевавших в 30-ти верстах от этого города, и пригнал в свой царицынский табор, оставленный под начальством Василия Уса, как пленных, так и захваченных у татар лошадей и всякую „животину“.

Осада Царицына была непродолжительна. Жители передались Разину и, сбив замок у городских ворот, впустили казаков в город. Начались братания их с царицынцами, лилось при этом в изобилии и зелено вино. Сам Разин тоже не замедлил приехать в город с немногими казаками, очевидно, ближними своими товарищами, и очень

---

[1]) Можно думать, что у Разина и его сообщников были красные знамена; ибо в описи вещам, отнятым у разинца—„атамана казачья Илюшки Иванова с товарищами“, значится и „знамя воровское нестраднное К р а с н о е“. Чтения в обществе истории и др. при Моск. унив. 1894 г. III, 16.

хорошо угостился у царицынских жителей. Царицынский воевода Тургенев в это время уже приготовился к отчаянной обороне, запершись в городской башне с племянниками и с немногими своими людьми, а также с тремя царицынцами, вероятно, из наиболее зажиточных жителей, и с десятком московских стрельцов. Разин атаковал воеводу, и защита башни была упорная. Но тем не менее башня была взята, царицынцы и стрельцы были перебиты, а воевода, его люди и племянник были взяты в плен.

На следующий день Тургенев, на веревке приведенный с надругательством к Волге, был исколот копьем и брошен в воду; остальных пленников, взятых в башне, Разин оставил „при себе". По расправе с воеводой, Разин в кругу „говорил своим казакам, чтоб итти вверх по Волге под государевы города и воевод из городов выводить, или итти к Москве против бояр"... Круг одобрил предложение своего атамана: так на „ево слове" и „положили". А пока что, засели в Царицыне, который Разиным был заново укреплен и снабжен всякими припасами. К тому же за припасами далеко ходить и не пришлось. Они сами прибыли „Волгою" на „насадах"—сначала патриарха, потом царя и торговых людей; когда „насады плыли мимо Царицына", тут на них и ударил Стенька с товарищами „и запасы всякие из насад и из судов перевез в Царицын город".

Укрепившись здесь, Разин произвел разведку чрез высланную из Царицына конную „станицу" и чрез других разных „посыльщиков" и узнал, что „против его государевы ратные люди вышли и стоят на Черном Яру". С другой стороны, пикеты Разина захватили „конюхов" „с опасными вели-

кого государя граматами", из которых Разин узнал, „что идут московские стрельцы к Царицыну" [1]).

Положение было вполне ясно: предстояло прежде всего уничтожить московский отряд, который был уже близко, а затем повернуть на далеко находящийся астраханский отряд и занять не только Черный-Яр, но и Астрахань, дабы обеспечить себе тыл для движения вверх по Волге, что было постановлено казацким кругом тотчас же по взятии Царицына. Разин так и сделал.

Послав против московских стрельцов берегом конницу, сам он двинулся вверх по Волге на стругах и в 7-ми верстах от Царицына дал стрельцам бой, а затем, отступая вниз по реке, подманил их под самый город. Отсюда в стрельцов неожиданно грянули пушки, стрельцы смешались и, потеряв не мало своих товарищей, были забраны Разиным в плен ниже Царицына, чему, вероятно, содействовала и конница, отходившая к городу одновременно с разинскими судами. Стрелецкий голова Иван Лопатин и сотники были казнены. Почему-то пощадили лишь полуголову, которого Разин оставил в Царицыне под арестом, надо думать, в качестве заложника.

Покончив с московским отрядом, Разин обратился на астраханский; теперь в его войске, плывшем с ним на стругах, были и полоненные московские стрельцы вместе со своими барабанами и знаменами; присоединились к Разину и некоторые царицынские жители, которые отправились с ним в поход к Черному Яру. Конница попрежнему под начальством есаулов пошла берегом. Царицын

---

[1]) Материалы для истории возмущения Стеньки Разина, Москва, 1857, стр. 14 и 15.

не был оставлен без охраны: таковая была образована из людей, выбранных из войска и из царицынских жителей—по человеку с каждого десятка. Из Царицына Разин выступил 5-го июня, а 8 июня в Астрахани уже было получено известие о занятии им Чернаго Яра и о сборах удачливого атамана в поход на Астрахань. Черный Яр был занят без сопротивления, ибо стрельцы и солдаты изменили московскому правительству, передались Разину, еще более усилив его войско. С начальными людьми и здесь была произведена кровавая расправа: был пощажен лишь князь Семен Иванович Львов, как полагают, угодивший Разину еще во время первого его пребывания в Астрахани и теперь оставленный им в Черном Яру.

В Астрахани шла в это время большая суета. Воевода князь Прозоровский торопился укреплять город для обороны, а в правительственных войсковых частях и в низших слоях астраханского населения зрела готовность передаться „батюшке Степану Тимофеевичу". Принимал меры кн. Прозоровский и против готовившейся „измены", но эти меры оказывались тщетными. Приехавшие из стана Разина холоп князя Львова, да поп Василий Маленький были распрашиваемы князем Прозоровским накрепко, а холоп так и на пытке мучим, после чего было приказано—холопу „за городом против воровских стругов голову отсечь", а попу только „кляп в рот вложить и посадить в каменную темницу до указу великого государя". Но это нимало не помогло: ни отрубленная холопья голова, ни кляп в поповском рту никого не устрашили. Доброхоты Разина продолжали действовать, тем более, что их было много—это был весь простой народ, инстинктивно почувствовавший, что вместе с Рази-

ным наступает его время, время всех обездоленных и угнетенных.

Какая-то невидимая сила поднимала этих последних, бывших действительно последними людьми в обществе, поднимала на встречу к „Разину с товарищами“, воистину безногие получали способность бежать к чудному, небывалому атаману.

Так перебежал к Разину нищий Тимошка Безногий с товарищами—и Степан Тимофеевич сейчас-же их уговорил, чтобы они, когда пойдет он на приступ к Астрахани, зажгли Белый город. Замысел этот, однако, не удался. На обратном пути нищие были пойманы, доставлены в приказную палату, там пытаны и повинились, вследствие чего и были казнены. Стремясь повлиять на население устрашающими мерами, кн. Прозоровский пытался действовать и уговорами, не отказывался подкрепить эти уговоры и денежным жалованьем, когда его настойчиво потребовали. Это были стрельцы, конные и пешие, действительно, не получавшие жалованья в течение целого года: была, значит, серьезная причина для недовольства московскою властью. Кн. Прозоровский удовлетворил их требование, получив для этой цели от митрополита 600 руб. из его личных средств, да 2.000 р. монастырских денег. Митрополит согласился помочь пустой государевой казне; он видел, что стрельцы уже прельщены обещаниями Разина, но всетаки сделал попытку „их утвердити в заступление града“. За 4 дня до штурма Астрахани стрельцам было роздано жалованье. Призвав пятидесятников и некоторых старых влиятельных людей среди астраханского населения, оба представителя власти в городе—светской и духовной, воевода и митрополит, уговаривали их биться „мужественно“

„с изменниками“, обещая им здесь, на земле, царскую „милость“, а на том свете „с мученики наслаждение“, но и это не помогло—не прельстились представители народа на эти обещания, хотя и сказали, что готовы „служить“, „не щадя ни мало живота своего“. „Прелесть“ Разина оказалась сильнее. Когда он с товарищами и толпами приставшего к нему черного люда ночью подошел к городским стенам, и к ним были приставлены принесенные лесницы, по которым и полезли атакующие,—астраханские жители, как свидетельствует современник, „тех воров на градную стену начаша принимати“ [1]). При таком положении вещей, город, разумеется, держаться не мог, и он в сущности не был взят, а был сдан Разину народом, поднявшимся на властей и тесно с ними связанных богатых и просто зажиточных людей, наживающихся на счет народного труда [2]).

Как только послышался сигнал—пять пушечных выстрелов—о сдаче города, так тотчас же молодшие люди, т. е. бедняки, бросились избивать, начиная с воеводы, всех так называемых „лучших“ людей—стрелецких голов, дворян, дьяков, астраханских сотников, детей боярских, а также и людей боярских, дворовых слуг, попавших под руку расходившихся мстителей. Тяжело раненый воевода

---

[1]) Материалы, 248—251.

[2]) Гарнизон тоже изменил московской власти. Вылазки были сделаны чисто формальные. Посадские люди впоследствии показывали, что „астраханцы и черноярцы служилые люди пошли из города против ево, Стеньки, будто на вылазку и с ним, де Стенькою, под городом сошлись и с ним не бились, и вот де, Стенька Разин с воровскими казаками вошел в город без бою (М. Арх. б. М. Ю., Разряды. прик Белогородск. стол. Столбец 692, листы 73 и 74).

князь Прозоровский был возведен на городскую стену „и с раскату“ сброшен на землю. Погибло много служилых людей всякого чина; по сообщению современного событию „сказания“, „земля обагрися кровию и мимо церкви до приказныя палаты течаше кровь человеча яко река“. Убитых Разин велел кидать „без разбору“ „в братскую могилу“, и приставленный к ней „старец“, т. е. монах, сообщил потом, что похороненных было 441 челов. [1]). Приказные дела были сожжены Разиным всенародно на площади, при чем он обещал поступить так и „наверху“, с царскими делами, следовательно, ни мало ни считаясь со своим заявлением, что он борется за государя. Так праздновал он свою победу над воеводско-приказным строем в Астрахани. Здесь немедленно было введено победителем казацкое устройство с кругом из всех жителей города, разделенного, как казачий полк, на сотни и десятки, с выборным начальством—атаманами, есаулами, сотниками и десятниками. Свою победу Разин праздновал и иначе—задал пир на весь астраханский мир. Текла тогда в Астрахани не только красная, но и зеленая река: не одной крови,—и вина было много! От него зеленело в глазах, и ярость победителей усиливалась до крайней степени.

Попировав в волю, Разин решил оставить Астрахань и двинуться опять вверх по Волге; но на прощанье, во время пира, он приказал повесить на городской стене за ноги двух сыновей погибшего воеводы—16-ти и 8-ми лет; вместе с ними был повешен, но не за ноги, а за ребро под'ячий: „велел“, рассказывает современник об этом подвиге

---

[1]) Материалы 252.

Разина, „проколоть ребра и крюком захватя за ребро повесити“ [1]). Этот, уцелевший раньше, под'ячий, так пострадал потому, что на него сослался старший княжич Прозоровский, когда был допрашиваем Разиным о собиравшихся в Астрахани таможенных деньгах. На другой день старший Прозоровский был сброшен со стены и, конечно, расшибся на смерть, а младший полумертвый от висения вниз головой был снят, высечен и отдан матери. Под'ячий на утро был мертв. Такие казни были в нравах того времени. Никому не казались они чем-либо выходящим из ряда обычного по своей жестокости, ибо московское правительство придумывало, пожалуй, еще более страшные муки для своих врагов. Для того, чтобы не было на этот счет сомнений можно привести следующий, заимствованный из ненапечатанных материалов факт. Пойман был впоследствии один из разинских атаманов Петрушка Соболев и после допроса, как водилось, под пыткой, был содержим под караулом—ждали, „что укажет“ „о том воре великий государь“. В подлиннике имеется „помета“: „велеть того вора казнить смертью—отсекши у него руки и ноги, туловище повесить“ [2]). Так „указал“, „великий государь“—„Тишайший“ и добрейший Алексей Михайлович, указал повесить уже казненного, но еще живого человека с отрубленными пред тем руками и ногами. Ниже мы увидим и другие примеры подобной же правительственной жестокости. Таковы были „нравы“ эпохи, порожденные борьбой московского самодержавия и высших классов

---

[1]) Материалы, 255

[2]) Московск. Арх. б. Министерства Юстиции. Разрядный Приказ Московск. Стол. Столбец № 441.

с надвигавшейся на них опасностью от нисших. Удивительно ли, что нисшие классы тоже были беспощадны, когда победа, хотя на минуту, была на их стороне: они вперед твердо знали, что их братию не пощадят их господа и „мучители“, когда опять власть очутится в их руках.

Не была, повидимому, поражена жестокой казнью, учиненною Разиным над под'ячим (Алексеем Алексеевым) и жена последнего; ибо она вскоре после его ужасной смерти на крюке, вышла замуж „добровольно“ за одного из разинцев, гулящего человека Савку Онуфриева, может быть, за одного из тех, которые подвешивали ее супруга [1]). Вероятно, потому и тело под'ячего было отдано Разиным для погребения не жене, а матери его [2]).

Много было перебито и казнено в Астрахани всякого рода господ, в том числе был повешен „ханов сын“, который был взят Разиным „на бою за морем“, но все-таки погибли не все, кого „чернь“ считала своими врагами, и потому принимавшие участие в резне астраханцы беспокоились, что оставшиеся в живых впоследствии могут стать хорошими свидетелями происшедшего и жестоко, в свою очередь, отомстят им за убийства своей братии. Астраханцы пришли к Разину и сказали: „Многие дворяне и приказные люди перехоронились: позволь нам сыскав их побить, для того, когда от великого государя будет в Астрахань какая присылка, то они нам будут первые неприятели“. Разин ответил: „Когда из Астрахани пойду, то вы делайте, как хотите, и для расправы оставлю вам казака Ваську Уса“. В Астрахани военные силы

---

[1]) Акты историч. IV, 414.

[2]) Ibid.

Разина не увеличились, хотя некоторые астраханцы и не пожелали остаться дома даже „для расправы“ со своими классовыми врагами, а вошли в состав разинского войска; но известная часть этого войска, несомненно, была оставлена в Астрахани. Тем не менее в надежде на общее восстание народа Разин, обеспечив себе тыл, выступил из Астрахани продолжать свое дело...

§ 2.

Поход Разина вверх по Волге, конец восстания и его следы в памяти народа.

Двигаясь из Астрахани вверх по Волге, Разин знал, что делал. Ему было ясно, что ближайшие поволжские города для него в сущности открыты. Царицын, старый его знакомый, когда Разин был еще на Дону, приглашал его к себе на защиту от Москвы, разгневанной на царицынцев за измену: „царицынские градские люди“, сообщали потом свидетели, „к нему, Стеньке, приказывали почасту, чтоб Стенька шел к ним на Царицын, не мешкав, для того: будто бы посланы с Москвы московские стрельцы их, царицынских градских людей, рубить, и он де бы, Стенька, их, царицынцев, пришед, выручил“. Стенька к ним уже приходил, „выручил“ и теперь шел в Царицын, как в свой город. И далее, у него открывалась широкая перспектива призывания от „градских людей“ Поволжья, ибо и из Саратова его приглашали и для той же цели: чтобы „выручил“ из надвигавшейся от „великаго государя“ беды [1]). В Царицын Разин пришел 29-го

[1]) М. Ар. б. М. Юстиц., Разрядный приказ, Белогородский стол, столбец 692, Лист 276.

июля. Войска у него было еще немного для серьезного предприятия. Очевидцы потом сообщали, что из Астрахани с ним „пришло товарищев его воровских казаков и всяких людей тысяч с шесть". При этом и вооружено было войско плоховато: ружья имели, повидимому, только казаки, ядро войска, ибо, как свидетельствовали впоследствии близко стоявшие к этим событиям лица, „многия люди у него без ружья, только де одни у них дротики". Ясно, что в Царицыне надо было остановиться, осмотреться и окончательно выработать план дальнейших действий. Разин так и сделал. В Царицыне он оставался до 7-го августа. Здесь он совещался и не раз со своими товарищами [1]). „Да как он Стенька", показывали впоследствии стрельцы, „пришел из Астрахани на Царицын, и у него, у Стеньки, на Царицыне были круги многие". Обсуждался, главным образом, вопрос о дальнейшем пути похода. В кругу Разин спросил: „Куда в Русь иттить лучше—Волгою или рекою Доном"? Последовало обсуждение этого вопроса. В литературе по разинскому возмущению здесь пробел: этот эпизод оставался неизвестным, а между тем он чрезвычайно важен. Он воочию показывает, что вторичное выступление Разина на Волге было не предприятием за добычей, а осуществлением определенно принятого плана — идти в Русь, на Москву войной; этот план несомненно был результатом коллективного обдумывания и творчества Разина и его ближайших товарищей сподвижников; оставался только не решенный вопрос, каким путем идти на Русь, и этот вопрос главный вождь

---

[1]) Разрядный приказ, Белогородский стол, столбец 692, лист 277.

голытьбы отдал на решение казацкого круга. Товарищи—казаки решительно высказывались против донского и степного пути и приводили тому весские основание. Они говорили в кругу же в ответ на вопрос, предложенный им атаманом—вождем: „Итить им рекою Доном на Русь и на украинные городы не мочно, потому де Дон река коренная, и как де запустошить украинные городы, которые к Дону близко, и у них, де на Дону запасов не будет, да и для того на те городы рекою Доном и Хопром итить им не мочно, что де Тамбов и Козлов городы многолюдные, и там де дворян и всяких людей много, и они де в тех городах их, воровских казаков, побьют, а степью де им итить не мочно, потому что им, степью идучи, есть нечева и запасов весть им не на чем". [1]) Оставалось, следовательно, „итить" волжским путем. Это было мнение круга, оно и было принято. Другого решения и не могло быть, ибо казаки были большие донские патриоты и „коренную реку", как они определяли Дон, ставший их отечеством, они вовсе не желали оголодить, чтобы там стало совсем „есть нечева", как в степи. Знали они и о подготовленности Тамбовской украйны к защите от вторжения и быть наверняка побитыми, естественно, не хотели. Наоборот, Волга манила их именно доступностью ее городов для „воровства", в чем они вполне осязательно убедились по царицынскому и астраханскому опытам. К тому же ближайший к Царицыну город Саратов призывал их для выручки, тем самым, несомненно, внушая им окончательное убеждение, что так поведут себя и остальные поволжские города.

---

[1]) Моск. Арх. б. Мин. Юст Разрядн. приказ, Белогородский стол, столбец 692 лист 277.

Многие толки были среди разинского войска, пока оно стояло в Царицыне. После царицынско-астраханских успехов, казаки уже не стеснялись и, бахвалясь, подбадривали себя грядущим выполнением их „злого умысла“, причем не делали из него секрета; напротив, теперь показная сторона этого „умысла“ могла служить хорошим агитационным средством. Между казаками толкались царские стрельцы, потом явившиеся изобличителями их разговоров. Они впоследствии показывали пред московскою властью: „будучи в Царицыне слушали от воровских казаков многажды, что де они, воровские казаки, меж собою говорят и похваляют бывшаго, Никона патриарха, что де он, Никон, будет на Москве патриархом, попрежнему,—так де и все будет смирно“... Что их вождь Степан Тимофеевич будет в Москве, его товарищи не сомневались, не желали сомневаться, говоря по пересказу стрельцов—свидетелей: „а пришед де он, вор Стенка, к Москве, и бояр и всяких начальных людей побьет, и ево де, Никона, возмут и посадят на Москве на патриаршестве попрежнему, а нынешнего патриарха“, прибавляли стрельцы, передавая речи товарищей Разина, „бранят они, воровские казаки, матерны“. Слышали в Царицыне стрельцы и о том, что „Никон патриарх к Стеньке Разину на Дон писал, чтоб он, Стенка, собрався с воровскими казаками, шел на бояр к Москве, а ево де, Никона, бояря согнали с Москвы напрасно“ [1]). С Никоном Разин и казаки носились, как с одним из лозунгов восстания и борьбы с боярским правительством [2]): это отмечено выше и во-

---

[1]) Мос. Арх. б. М. Юст. Разрядн. приказ, Белогородск. стол, столбец 692, листы 277 и 278.

[2]) Материалы для истории возмущения Стеньки Разина, изд. Поповым, стр. 123,

обще более или менее известно; не так ясен вопрос бо отношении к этой затее со стороны самого Никона. Впоследствии, Разин с пыток, между прочим, показывал о монахе, который будто бы был прислан к нему от Никона [1]). Теперь это показание в сущности подтверждается свидетельством стрельцов, узнавших о сношениях Никона с Разиным из другого источника,—из толков об этом между „воровскими казаками“ в Царицыне: значит, означенные сношения были слишком общеизвестны, если казаки говорили о них столь гласно.

В Царицыне вообще у Разина и его товарищей образовалась база. Здесь он был уже в третий раз и стал как бы своим человеком. Здесь впервые обещал он по делам воздать притеснителям народа, когда, проездом из Астрахани на Дон, самовольно остановился, пировал с царицынцами и чинил „невежества“ царицынским воеводам; здесь, явившись с Дона в Царицын вторично, он впервые получил признание от представителя духовенства „царицынского соборного попа Андрея“, назвавшего его „батюшкой“. В этом попе Разин нашел себе полную поддержку. Поп проповедывал казнь стрельцов; „говорил, чтоб их.... велел он, Стенька, посажать в воду и называл их.... он, поп Андрей, мясниками“—„Уже нам от тех мясников, от московских стрельцов житья не стало“,—говорил поп Андрей. И на этом он не останавливался, а шел дальше, вплоть до отлучения московских стрельцов от церкви,—ибо так должно об'яснять следующее запрещение, в котором поп Андрей был вполне солидарен с казацким и народным „батюш-

---

[1]) Соловьев, История России т. II-й, стран. 475 в примечаниях. Издание 1861 г., С.-Петербург.

кой"—атаманом: „А которые де московские стрельцы", доносило потом московскому правительству стрелецкое показание, „от ран и иных болезней в Царицыне помирали, и их де у церкви божии не хоронили по ево Стенкину и попа Андрееву приказу и исповедывать де тех больных людей при смерти не велели"... Обычаи и обряды православной церкви оставлены были лишь для сторонников „воровского" атамана: таков был приказ не только его самого, но и присоединившегося к нему царицынского соборного попа, открывшего собой ряд „воровских попов".

В Царицыне Разин продолжал пополнять и формировать свое войско. Передавшихся ему стрельцов и судовых рабочих он зачислил в его состав, равно как и тех людей, которых он оставлял „у себя поневоле", при чем поступал с ними, со всеми стрельцами и другими, как в последствии Петр I с новобранцами: „бороды велит брить догола", жаловались ушедшие от Разина стрельцы [1]). Это последнее обстоятельство показывает, как далек был Разин от староверья, старообрядчества, которое уже потому не могло быть его лозунгом, что он стоял за патриарха Никона. Разин не понял начавшегося раскола в русской церкви, и если потом через своих эмиссаров обнадеживал и раскольников, то в этом случае следовал обычной своей тактике обнадеживать и привлекать к себе всех, кто так или иначе не поладил с московскими „боярами" и их государством. Будучи далек своими понятиями, всем своим душевным складом от расколоучителей, Разин был психологически близок к Запорожью, которое всегда находилось в друже-

---

[1]) Ibid. листы 273 и 274.

любных и союзнических отношениях с Доном и потому оказывало на донское казачество известное влияние; таким именно влиянием можно об'яснить разинский приказ брить зачисленным в его войско бороды до гола, значит оставлять их с одними усами по запорожскому или черкасскому (малороссийскому) обычаю. Весьма вероятно, что сам Разин и его донские соподвижники—„воровские казаки“ уже усвоили этот обычай и, если не все, то многие были сами лишь с казацкими усами, без бород. Но влияние Запорожья на Дон было гораздо глубже и выразилось не только в указанной внешней переимчивости: Запорожье показало Дону примеры и опыты морских предприятий за добычей, ибо не иное, а именно запорожское казачество гораздо раньше донского прославилось своими морскими набегами на берега Крыма и Турции. С другой стороны, и Дон явился властителем дум наиболее демократической части черкасского, т. е. малороссийского, украинского казачества, когда Разин поднял борьбу против высших классов Москвы. Казацкие демократы были питомцами славного боевыми подвигами Запорожья, подвергшегося тоже классовой расслойке. Они-то, „запорожские черкассы“, несомненно из крайних элементов этого „товарищества“, под начальством полковника Ерика, соединившись с Разиным, участвовали во взятии им Царицына в самом начале борьбы Разина с „боярским“ государством [1]). Несмотря на сравнительную малочисленность, „запорожские черкассы“ были большой подмогой для

---

[1]) См. мое сочинение: Разиновщина, как социологическое и психологическое явление народной жизни; 3-е и 4-е издание, стр. 25 и 26.

Разина. Это, вместе с донскими казаками, было небольшое, но настоящее, привыкшее к оружию, испытанное в боях, казацкое войско; причем часть запорожцев была в конном строю. Дальше шли уже „многие люди“, пристававшие к казацкому предприятию на пути его и именуемые в документах „приставальщиками“—русские и не русские, прежде всего, разумеется, черные люди занимавшихся Разиным городов, царицынцы, астраханцы, саратовцы, призывавшие к себе вождя „голытьбы“; они охотно вступали в мятеж, ибо сами они в громадном большинстве были бедняками, переселившимися на Волгу для лучшей жизни, но нашедшими и здесь все ту же нужду и неволю, от которых они бежали; сверх того, в мятеж вступали окрестные кочевые или полукочевые народы, башкиры, калмыки, татары [1]), несколько же позднее многочисленные так

---

[1]) Мы указываем на татар и калмыков потому, что едва ли можно сомневаться в некотором участии этих народов в разинском мятеже. Астраханские бедняки, татары, вероятно, действовали солидарно с бедняками русскими: эта была единая астраханская «чернь», принявшая Разина, из коей иные вошли в состав его ополчения. Да и из татарских мурз некоторые занимали в его войске ответственные положения. Что касается калмыков, то их подозревало в „умысле“ само московское правительство, предписывая своим агентам, одновременно с разведками о Разине и донских казаках, разведывать и о калмыках, с кем они находятся в сношениях (см. выше и 1 и 2 вып. „Чтений по истории Нижнего и Средн. поволжья“, стр. 135). С другой стороны, известно, что Разин „повоевал“ некоторые калмыцкие улусы; но известно также и то, что часть калмыков, до 40,000 чел., в это же время отделилась от общего кочевья и откочевала к Ногайским горам, вызвав тем самым поход на них калмыков, оставшихся на прежних своих местах, поход вместе с донскими казаками, оставшимися верными Москве (Материалы Попова, стран. 209). Сверх того, мы имеем прямое показание одного крестьянина („Трошки Иванова“), как очевидца,—о сношениях калмыков с Разиным и о готовности их поддержать его поход

называемые „уездные люди“, русские крестьяне, восставшие на помещиков, и вместе с нерусским населением сел—чувашами, черемисами, мордвой, кое-где татарами, двинувшиеся на московских властей, воевод и приказных, сборщиков всяких налогов, ясака, и столь-же обязательных нескончаемых подарков и гостинцев. Из „приставальщиков“, явившихся к самому Разину, он составлял особые ополчения, которые были иррегулярнейшими из ополчений, представляя нестройные толпы, вооруженные лишь дротиками (небольшими копьями) и чем ни попало. Эти ополчения имели однако свойство быстро увеличиваться численно; они все росли и росли в своей численности по мере движения Разина вперед, подобно тому, как растет катящийся ком влажного снега: восстание быстро покатилось по своему пути и к нему стала прилипать вся встречавшаяся ему „чернь“... Она сама тянулась к нему и к тому человеку, к „батюшке Степану Тимофеевичу“, который очутился во главе народного восстания и из „воровского“ казацкого атамана превратился в народного вождя. Она торопила его. Торопила его, как мы знаем, царицынская „чернь“, торопила и саратовская. Отправив все то, что он с товарищами приобрел в Астрахани домой, на Дон, он об'явил поход дальше, вверх по Волге.

на Русь. Трошка свидетельствовал:... „При нем, Трошке, приезжали к нему вору, Стеньке, ис-под Астрахани калмыцких улусов посланными два человека, чтобы им кочевать на Дону и говорили де ему вору, Стеньке, как он пойдет в Русь, а их де калмыцкое войско все готово“, (М. Ар. б. М. Юст. Разр. Приказ, Белогородск. Стол, столбец 670, лист 160). На основании этих сведений можно, кажется, сделать предположение, что мятеж Разина всколыхнул и калмыцкие кочевья, в результате чего благодаря возникшему в них разложению, известная часть калмыков втянулась в разинское предприятие.

Сам он со своими донскими казаками и с приставшими к нему, как в Астрахани, так и в Царицыне „многими людьми“, поплыл Волгой, на 200 судах, а запорожцы, „конные и пешие“, пошли сухопутно, по обе стороны реки [1]). Начался ряд новых его волжских триумфов. Под Саратов Разину надо было торопиться. Как сообщается в неизданных документах, когда он стоял в Царицыне, из Саратова то и дело („почасту“) „прибегали“ к нему „человека по два и по три“ сразу „и говорили ему, Стеньке, чтоб он шел к ним под Саратов не мешкав“; при этом уверяли, что „саратовцы грацкие люди город Саратов ему здадут“. Все жители этого города, по рассказам перебежчиков, были на стороне Разина. Только в Саратове крепился саратовский воевода,—говорили они: [2]) он один только помышлял о борьбе, а „народ“ ждал с нетерпением своего избавителя. Это могло только еще скорее понудить Разина двинуться вперед: ведь на воевод-то он и шел, это были его враги, ибо он их считал врагами народа. В Царицыне поэтому Разин не засиделся. Но как ни торопился Разин, выйдя из Царицына 7-го августа, он лишь к Успеньеву дню, 15-го августа, подошел к Саратову, и в этот же день, как Разину обещали, город ему был сдан самими „жителями“, встретившими „батюшку Степана Тимофеевича“ „с хлебом и солью“. В этой встрече учавствовало и духовенство в лице игумена Богородицкого монастыря,—очевидно, с братией, хоругвями и вообще с целым крестным ходом. Это вполне понятно. Нам известно, что часть духовен-

---

[1]) Материалы, стр. 238; Соловьев, т. XI, стр. 429.

[2]) М. Арх. б. М. Юст., Разрядн. приказ, Белогорд. стол, столбец 692, лист 276.

ства вовлеклась в движение Разина, и в его войске были свои „воровские“ попы, белые и черные. Некоторые из них, как напр., духовник Разина, знакомый уже нам поп Феодосий, были даже весьма активны, участвуя в военных операциях казацкой и иной голытьбы [1]).

Ничего неожиданного, поэтому, нет и в том обстоятельстве, что в Саратове нашелся игумен, готовый признать новую, народом утверждаемую, власть. В этот момент воля народная была непреклонна. Она внушала уважение к себе и страх. Еще накануне прихода Разина под Саратов здесь народом был арестован не желавший подчиниться Стеньке, „крепившийся“ воевода, Кузьма Лутохин, и к нему был приставлен караул из 20-ти человек. Саратовцы были, видимо, раздражены на своего воеводу и, готовя ему участь царицынского и астраханского воевод, говорили:—„Вот мы тебя у Стеньки отпечалуем“!

„Отпечалование“ с его неизбежными последствиями не заставило себя ждать. На следующий день, после взятия Лутохина под стражу, явился ожидаемый народом мститель, который и не замедлил утопить в Волге „отпечалованного“ или „облиховонного“ жителями воеводу, а вместе с ним и других начальных людей [2]). Расправившись с „боярской“ администрацией и введя в Саратове казацкое управление, Разин пополнил свое войско саратовцами и долго здесь не оставался, а продолжал свой поход „вверх по Волге“. Вскоре участь Сара-

---

[1]) См., напр., мою „Разиновщину“, Москва, 4-е издание, 1920 г., стр. 48 и 49.

[2]) Геркалитов: Саратов. Краткий исторический опыт. Саратов, 1919 г., стран. 14.

това постигла—Самару,—и с теми же результатами: с истреблением воеводы, приказных и других властей и с заменой „боярского“ управления казацким кругом. Вместе с тем восстание приволжского населения разгоралось все более и более...

Движение Разина послужило могучим толчком к предприятиям башкир против Казанского края. Но особенно сильно оно взволновало не кочевников, а оседлых инородцев—чуваш, черемис, мордву и в меньших количествах—татар бывшего казанского царства. Русское крестьянство тоже начало подниматься и, расправляясь со своими помещиками, в лице наиболее предприимчивых своих представителей спешило в таборы Разина и его сподвижников. Инородцы, чуваши, мордва, черемисы и татары не только не отставали от русских, но иногда и превосходили их в своем мятежном настроении. Это и понятно. Социальное положение инородческих масс в Поволжье было не лучше положения русских крестьян; но разница была та, что последние были все таки победителями, участвовавшими в захвате земель у туземцев, и потому невольно чувствовавшими себя выше окружающих их инородцев при всей кабальной приниженности своей пред своими господами — помещиками. Русского крестьянина притеснял в Поволжье помещик, воевода, каждый прикащик и приказный, но он был свободен от миссионерского насилия, ибо был такой же „православный“, как его многочисленное начальство. Инородец часто чувствовал и религиозный гнет, а чрез то наиболее остро ощущал свое подневольное положение, хотя бы и не имел над собой помещика. Вполне есте-

ственно, что он страстно желал сбросить с себя московскую петлю. С такою мыслью поднимались— и мордва, и черемисы и чуваши, и татары. Последние в эту эпоху оказались более лойяльными, чем остальные инородцы, вероятно, потому, что московское правительство с ними более считалось, как с недавними сравнительно владетелями Поволжья; и материальное положение их было лучше положения других инородцев, входивших в состав бывшего казанского царства; но тем не менее и казанские татары приняли участие в движении Разина, хотя и не столь компактными массами, как мордва, черемисы и, особенно, чуваши, проявившие особенную энергию и упорство в восстании. Разину было известно стремление казанских татар к независимости от Москвы и он, по своему обыкновению не пренебрегать ничем и никем, решил учесть и этот политический мотив, дабы привлечь на свою сторону казанских мурз; Разин их, равно как и дворян и детей боярских, брал под свое покровительство против „черни", если они согласятся бороться с московскими „боярами" заодно с ним. И надо думать, у Разина были известные основания надеяться на успех и в этой своей агитации; по крайней мере, с воззванием к черному народу— русским и инородцам (татарам, чувашам и мордве) Цивильского уезда был послан мурза Килдибяков, ставший казаком, которому, по приказу Разина, „чернь" должна была повиноваться беспрекословно: „...вам бы чернь", говорит он в отправленной с Килдибяковым „памяти", „его слушать и спору не держать". В противном случае, он угрожал тяжелыми последствиями непослушания и самой „черни". А воззвание, как раз, вставало на защиту тех „дворян и детей боярских и мурз и

татар", которые будут союзниками Разина: „Вам бы, чернь", внушал атаман, их „ничем не тронуть и домов их не разорять" [1]). Агитация Разина была поставлена широко и энергично. „Десять человек о двуконь", как сообщали сами „черкассы", т. е. малороссы, Разин послал на Украину к гетману Петру Дорошенке, „чтоб он шел наскоро Муравским шляхом" „войною" на украинские города Московского государя. Из другого источника, от заезжего сербского черного дьякона узнали, что Дорошенко, со своей стороны, из Чигирина посылал эмиссаров „в орду", т. е. в Крым, „для того, чтоб ему", писал позднее царю кн. Юрий Барятинский, „дождався орды, приходить войною на твоего великого государя украинные города" [2]). И эта угроза нападения малорусского союзника Разина оставалась в силе и после того, как вождь народного восстания был разбит под Симбирском: по крайней мере, так выходило, по мнению автора, процитированной отписки царю. Но пока Разин в качестве победителя подвигался вверх по Волге, опасность для государства и правящих классов день ото дня становилась все больше и больше. Восстание разгоралось, и таборы Разина быстро наполнялись новыми „приставальщиками"...

К Симбирску Разин подошел со своими толпами 4 сентября. Отсюда рассылались „прелестные письма" или „памяти" к населению. Как нам известно [3]), Разин обращался сразу ко всем народно-

---

[1]) М. Ар. б. М. Юст. Разрядн. прик., Моск. стол., столб. № 441, листы 13—16. Также см. Порфирьев, Разинщина в Казанском крае, стр. 24 и 25.

[2]) М. Арх. б. М. Юст. Рязрядн. Прик. Белогородск. стол, столбец 625, л. 392 и 393.

[3]) См. выше страницу.....

стям края, но к казанским татарам счел необходимым обратиться и отдельно. И обратился. Это было тем легче, что среди сообщников Разина были и татары, игравшие роль его правой руки в деле агитации среди татарского народа. Таков, напр. Асан Айбулатов, в „письме“ к казанским татарам заявивший, что он находится „при Степане Тимофеевиче“. Это письмо было адресовано к некоторым казанским муллам и мурзам, „Икше-мунле“, Мамаю-мунле, Ханышу-мурзе, Москову-мурзе“, „которые над бедными сиротами и над вдовами милосердствуют“. После сообщения этим татарским заправилам и всем уездным и слободским мусульманам „челобитья“ от Степана Тимофеевича „в сем веке и в будущем“, после сообщения („буде нас спросите“) о здоровье и пожелания здоровья адресатам, „письмо“ призывает:

„Слово наше то: — для бога и пророка и государя и для войска—быть вам заодно; а буде заодно не будете и вам бы не пенять после. Бог тому свидетель—ничего вам худова не будет и мы за вас радеем“. Так писал от имени Разина—Асан,— с предупреждением „не пенять“ и с приглашением „поверить“ ему в том, в чем „я, Асан“, говорил этот татарский разинец, „вас наговариваю, и буде мне поверите—и вам худобы не будет“. Так „наговаривал“ и уговаривал Асан Айбулатов своих единоверцев и в заключение просил за него и Степана Тимофеевича „богу помолиться“ [1]). Мусульманин стремился поставить все предприятие под высшую опеку бога; с точки зрения своего мировоззрения он и не мог думать иначе, ибо из его „письма“

---

[1]) Известия Об-ва Археол., Истории и Этнографии при Каз. Унив. т. VIII, вып. 3-й, стр. 45, Казань 1890 г.

видно, что помощь слабым ближним, „бедным сиротам и вдовам“, стояла для него на первом плане.

Лозунг, который был брошен казанским татарам разинцем-мусульманином,—в сущности тот же, который мы видели в обращении к населению самого Разина, с тою только разницею, что вместо „дома пресвятой богородицы“, ради коего население призывалось к борьбе, у татарина поставлен пророк, ради которого, равно как „для бога“ и „государя“ казанские татары призывались к тому же—„быть за одно“ со Степаном Тимофеевичем и его „войском“. Так, в разинской агитации московский государь очутился рядом и с Магометом. Некоторый результат этой агитации по отношению к татарам бывшего Казанского царства получился: они в известной мере приняли участие в разинском движении, но сравнительно с другими народностями, особенно с чувашами, не столь значительное; в восстании, повидимому, приняли участие деревенские татары,—там, где они жили бок о бок с поднимавшимися, по кличу „писем“ и эмиссаров Разина, русскими, чувашами, черемисами. К числу таких татар надо отнести и свияжских мурз [1]), вероятно—мелких помещиков-мусульман, притесненных русскими помещиками или крещеными татарскими в Свияжском уезде и потому принявших участие в восстании против московских „бояр“. Городские же жители, татары собственно г. Казани остались в общем лойяльны; и, надо думать, потому, что это был по преимуществу коммерческий, довольно зажиточный люд, для которого уравнительная политика Разина и борьба „за

---

[1]) Материалы для истории возмущения Стеньки Разина стр. 88.

чернь" с высшими классами, за бедняков—с богачами не могла явиться приманкой. На то, что казанские татары вообще представляли класс, не восприимчивый к лозунгам Разинского движения, косвенно указывает и персональное обращение Асана именно к тем исключительно людям из этого класса, которые были милосердны к беднякам. Агитация, как видим из всего сказанного, была весьма энергична,—и восстание быстро стало захватывать прилегающие к „Симбирской" черте местности, а потом пошло дальше на север и запад. Неизвестно, до каких мест оно докатилось бы, если бы под Симбирском не спасовал главный вождь восстания.

Разин подошел к Симбирску позднее кн. Барятинского, который был здесь уже 31-го августа. Он явился на выручку кн. Милославского, сидевшего в Симбирске с малочисленным гарнизоном. Но на первых порах это предприятие не удалось. Разин отбил Барятинского от Симбирска, взяв, при содействии симбирских жителей, острог в посаде и заставив кн. Милославского крепко затвориться в рубленном городе, т. е. в крепости. Кн. Барятинский отступил на некоторое время к Тетюшам. Таков был результат первых боев под Симбирском, происшедших на другой день по приходе сюда Разина ночью 6 сентября. У Барятинского не было пехоты, и этому обстоятельству он приписывал свою неудачу; татарские конные отряды, которые были у него,—по его мнению, оказались весьма нестойки; сверх того, казанский воевода кн. Урусов замедлил прийти к нему на помощь, на которую он расчитывал и без которой, при отсутствии пехоты, Разина разбить было невозможно. Поэтому кн. Барятинскому пришлось довольно долго соби-

рать силы для продолжения борьбы с об'явившимся страшным врагом „боярского" государства. Положение этого государства становилось все более серьезным по мере того, как по призывам разинских „писем"—прокламаций и эмиссаров стало распространяться от Симбирской черты на север и запад крестьянское восстание. Помещики, застигнутые врасплох в своих поместьях и вотчинах, или падали жертвою поднявшегося на них мужика или опрометью бежали в укрепленные города. Не мало скопилось их и в Симбирске, начавшем, со времени отхода кн. Барятинского, выдерживать от Разина упорную осаду.

Из Самары Разин вышел с 5.000 челов., но под Симбирском это число стало быстро возрастать, ибо возбуждаемые разинскими призывами сюда потянулись—русские и инородческие толпы. Силы Разина увеличились до 20.000 человек. Положение симбирского гарнизона сделалось серьезным. Симбирский воевода князь Милославский взывал к казанскому—кн. Урусову о помощи, но тщетно. Надолго Симбирск был предоставлен самому себе—своим собственным недостаточным силам. Тем не менее гарнизон держался стойко: три разинских приступа были отбиты им с большими потерями для нападавших. Три приступа следовали один за другим с небольшими передышками для осажденных в два-три дня, но после 3-ей неудачи Разин забастовал на более продолжительное время. 3-й приступ был организован особенно старательно—возведен был даже вал „близко с городом наровень"; с этого вала разинцы бросали дрова в образовавшийся узкий промежуток, между валом и городской стеной, но дрова сейчас же зажигались защитниками Симбирска: „воры мечут", сообщал по-

том очевидец, „а из города жгут“. В иных местах пламя было слишком велико, и создавалась опасность для города: „там из города“, по сообщению того же очевидца, „завесили парусами и заливали водою“. При такой энергичной защите города, неудивительно, что у Разина „на тех приступах много людей... пропало“. Павшие разинцы были зарыты, но было ясно, что с четвертым приступом спешить не приходилось. Надо было к нему подготовиться получше. Пока Разин готовился, к Симбирску снова подошел кн. Барятинский, наконец, получивший из главного волжского военного центра—Казани, от казанского воеводы, подкрепление конными и пешими частями. По пути к Симбирску он разбил несколько толп восставшего народа: тут были—и татары, и чуваши, и черемисы, и мордва, с казаками во главе, прибывшими из разинского стана для организации восстания на местах. Взятым во время схваток в плен инсургентам от кн. Барятинского не было пощады: он их вершил (т. е. отрубал им головы) или вешал. 1-го октября Барятинский был на Свияге; Симбирск был пред ним в двух верстах. Разин не стал дожидаться атаки. Он атаковал кн. Барятинского первый, но тот отбил его и заставил отступить. Поражение потерпела лучшая, боевая часть разинского войска—донские и другие казаки; но у Разина, помимо чисто казацких отрядов, были значительные силы. Беда заключалась лишь в том весьма важном обстоятельстве, что эти силы представляли плохо вооруженную и столь же плохо организованную толпу, и потому и второй натиск Разина на Барятинского, со всей массой, окончился еще большей неудачей, чем первый. Бой был отчаянный, инсургенты и правительственные ратники перемешались, схва-

тывались в рукопашную, стреляли из пушек и ружей в упор. Много пало казаков, сам вождь их и народных ополчений „батюшка Степан Тимофеевич“ едва не погиб в этом смертном бою, будучи тяжело ранен саблею в голову и ружейной пулей в ногу... Целый день продолжалось побоище. Разин отступил, но не считал еще своего дела совершенно проигранным. Симбирский острог с валом и башней был его оплотом. Весь следующий день (2 октября) Разин, как, впрочем, и Барятинский, отдыхал и готовился к новой борьбе. 3-го октября кн. Барятинский, подойдя к симбирскому кремлю, вывел из осады кн. Милославского, и воеводы составили план совместных действий против пораженного, но все еще страшного врага. Часть войска кн. Барятинского была послана на обоз Разина, а Милославский должен был одновременно сделать вылазку из города. Дело началось успешно—не мало разинцев было побито, другие были отогнаны от города; но до обозов посланная часть не успела добраться, ибо ночью (на 4-е октября) Разин сам начал штурм города, бросая в него с вала зажженные бревна и обстреливая из пушек; все наличные его силы были двинуты им в бой; но вот он слышит вражеские крики в своем тылу—это был отряд, посланный кн. Барятинским в обход Разина, для того, чтобы отвлечь часть его сил от нападения на кремль; Разин подумал, что пришла на помощь Симбирску новая правительственная рать; в это же время от перебежчиков он узнал, что воеводы хотят захватить его струги и таким образом отнять у него возможность отступить Волгой. Тогда он дрогнул, решил, что дело его под Симбирском проиграно и, заявив, что он идет на Барятинского, поспешил с одними донскими казаками занять

струги и на них бежал вниз по Волге... Так вождь по его кличу восставшего народа отделился от него. Народные ополчения, состоявшие не только из русских крестьян, но и из инородцев—татар (в том числе свияжских мурз), чуваш, черемис, мордвы, были оставлены на произвол судьбы. Были с этими ополчениями и „воровские казаки“,— вероятно, изменившие правительству симбирские; они укрепились в остроге, были на шанцах. Предстояло еще дело с ними и вообще со всеми инсургентами, которых было много. Барятинский, послав часть своего войска захватить обоз противника, другую двинул на острог, к которому с противоположной стороны подступил и кн. Милославский. Острог был подожжен и запылал. Инсургенты были окружены. Пламя вытеснило их из острога, а противник с двух сторон гнал их в пламя. Видя свою гибель, они искали спасения в бегстве к стругам, но частью были перебиты, частью перетонули, перегрузив струги, частью друг друга перекололи в драке из-за стругов, частью, больше 600 человек, были переловлены и немедленно казнены [1]). Поражение Разина и его толп под Симбирском было полное. Спасшиеся от рук царских воевод бежали отсюда Волгой вместе со своим главным вождем. Впоследствии об этом бегстве оффициальная бумага вспоминала так: „...из под Симбирска воровские люди бежали с великим страхом, нигде не приставая, потому что под Симбирском все разбиты и пушки и ружья и порох все отбито“ [2]).

---

[1]) Материалы возмущ. Стеньки Разина, 87—89, А. И. Соловьев: Стенька Разин и его сообщники, в пределах нынешней Симбирской губ. Симбирск 1907 г. стран. 13—17.

[2]) Материалы 206.

Разин, действительно, не был принят ни в Самаре, ни в Саратове, ибо в массах, как только распространился слух о поражении любимого атамана, и сам он явился уже беглецом от царских воевод, стала распространяться паника пред грядущим возмездием от восторжествовавшего классового врага. Как-то сразу сделалось повсюду ясным, что симбирское поражение Разина означает гибель всего его громадного предприятия против Москвы. Восстание не улеглось еще, но оно потеряло свой центр, разбилось на отдельные, между собой несвязанные, движения и роковым образом было осуждено на полный крах. Сам вождь его не сдался однако сразу. Видя, что на Волге уже нет более надлежащей поддержки, а боевая казацкая сила у него разгромлена и терроризирована, Разин бросился домой—на Дон, желая, видимо, там набрать новые толпы голытьбы и так или иначе поправить проигранное дело. Но на Дону он очутился уже в другой социальной обстановке, а не в той, которая была в то время, когда он вернулся домой после первых своих подвигов на Волге и в Персии, когда с ним считался сам „великий государь", которого он уже не боялся, а казацкая буржуазия не осмеливалась пред ним, любимцем „голых и зерщиков", поднять головы. Теперь он был сломленной силой, популярность его на Дону пропала, и у него не было, как тогда, „своего войска"— боевые его товарищи во множестве погибли или рассеянные, со своими мелкими отрядами, по широким пространствам Среднего и Нижнего Поволжья, были обречены на гибель. Наоборот, казацкая буржуазия с атаманом Корнилом Яковлевым, на которого Разин когда-то прикрикнул, погрозив ему посажением в Дон-реку, воспрянула и

решила покончить со своим врагом, отступником от ее кровных интересов. Разин не испугался. Опираясь на немногочисленных теперь своих сторонников, он пытался бороться. Иногда его враги попадались в его руки. Им не было пощады. В каком-то бешенном исступлении, Разин захваченных им недругов бросал в большие печи, и топил ими, как бы стремясь и забыться в этой жестокости, и показать себя во весь свой рост неумолимого мстителя, навести на врагов прежний ужас... Но ничто не действовало. Социальная обстановка резко изменилась: сила была не на стороне вождя казацкой голытьбы и черного народа, и Разин был захвачен войсковым начальством Дона, представлявшим интересы домовитого, состоятельного казачества, и выдан московскому правительству. Оно его, после жестокой пытки, столь же жестоко и казнило— четвертованием.

Грандиозное восстание, возглавлявшееся Разиным, об'единялось этим народным вождем. Когда глава свалилась, восстание сразу не прекратилось. Оно распространилось слишком широко и захватило обширнейший район нижнего и среднего Поволжья, добравшись в северные пределы нынешней Нижегородской губернии на р. Ветлугу, а в западном направлении от Волги достигнув Рязани и Тамбова. В этом последнем городе после поражения Разина продолжали собираться значительные скопища, которые продолжали действовать от имени Степана Тимофеевича. У этих скопищ были свои атаманы „великого войска Донского и Запорожского“, как они писали в одной своей „воровской прелестной памяти“, переписанной потом московскими приказ-

ными „слово в слово“. Эти атаманы (Михаил Харитонович, Михаил Китаевич, Михаил Дмитриевич, Семен Нефедьев, Артемий Чирсков, Василий Шилов, Кирилл Лаврентьев и Тимофей Трофимович), послали гонцов к „атаманам-молодцам и всему войску“ „для собрания и совету“, прося помочь им, а мы“, говорили они, „ныне в Тамбове, ноября в 9-й день“, т. е. значительно позднее поражения Разина под Симбирском, „в скопе, у нас войсковой силы сорок две тысячи, а пушак у нас двадцать, а зелья у нас полпятиста и больши пуд. И кой час к вам ся память придет, и вам бы пожаловать, атаманы и молотцы, собрався ехать к нам на помощь с пушками и з зельем безо всякого мотчания днем и ночью на спех“. Далее, в „памяти“ сообщалось о победе казаков над московскими войсками под начальством князя Юрия Долгорукого,—очевидно, для убеждения тех, к кому обращались за помощью,—„порадеть за дом пресвятой богородицы, и за великого государя, и батюшку Степана Тимофеевича, и за всю православную и христианскую веру“. В заключение, в случае неисполнения просьбы, „память“ угрожала жестокими карами: „а будет вы к нам не пойдете собраньем на совет, и вам быть от великого войска в казни, и женам вашим и детям быть порубленным, и домы ваши будут разорены, и животы ваши и старики взяты будут на войско“ [1]). Но Степан Тимофеевич, за коего здесь предлагалось бороться, был уже побежденным вождем; он находился тогда на Дону и сам пытался поправить дело восстания, но не мог; тем более не могли иметь

---

[1]) М. Арх. б. М. Ю. Разрядн. Приказ, Московский стол, Столбец № 441.

успеха другие казацкие атаманы, участвовавшие в разинском движении, сколько бы рассылаемые ими „памяти“ ни призывали, ни угрожали и ни заявляли, что Степан Тимофеевич „челом бьет“ призываемым к продолжению борьбы.

Востание продолжалось, но, потеряв свой боевой центр и главный штаб, оно разбилось на отдельные движения. В разных местах громадного края по правому берегу Волги появлялись казаки из войска Разина или какой-нибудь поп, а то и просто крестьянин с „прелестным письмом“ или „памятью“,—и местные жители, посадские и крестьяне, русские и инородцы, поднимались, шли громить приказные избы и поместья, побивать служилых людей и помещиков,—и таким образом бунт пылал то в том, то в другом районе Поволжья. Это было наследством для черного народа и властей после ликвидации движения самого „Степана Тимофеевича“. Царские воеводы сообщали в Москву, что „воровские казаки, которые остались после воровского Стенькина побегу Разина из Симбирска, збираются в Надеинском Усолье, а собралось их человек с 700“ [1]). Видя стремление казаков, разбитых под Симбирском, опять соединяться в шайки, воеводы опасались нового большого их „собрания“ и сами указывали царю на необходимость спешить с уничтожением пока отдельных казацких банд: „надобно, государь“, писали они, „над ними промысел чинить, не мешкая, чтоб воры вместе опять не собрались, а теперь они разбиты в рознь“. [2]) Всюду у этих отдельных банд были

---

[1]) М. Ар. М. Юст. Приказ Казанск. дворца. Карабановский столб, № 26.

[2]) Ibid.

предводители, некоторые из коих, как, напр., действовавший на Ветлуге атаман Илюшка Иванов, получали значительную известность. Письма с печатями подобных вождей, иногда весьма преувеличенно, как мы видели, сообщавшие об их силах, имели собственно на черный народ магическое действие. Так, напр. (один из многих примеров) известно, что „черемисы,.. собрався в лесу от Ядрина в 10 верстах, а Ялринского уезду от деревни Четаевы за версту воруют по печатям воровских казаков". И это „воровство" было достаточно серьезно. 26 декабря мятежные черемисы „разбили" „служилых людей", которые были „посланы на воровских казаков". То там, то сям, снова и снова вспыхивал бунт. Атаман Илюшка Иванов с Ветлуги энергично рассылал письма—прокламации. Он пользовался большим авторитетом и втягивал в свою агитацию—и земскую администрацию, и духовенство. „Целовальник Семенов", читаем в допросах,—„принял от вора Илюшки Иванова воровское письмо, а земский староста Тараска Григорьев вместо бирюча на Унже кликал клич, а чел де то воровское письмо с Унжи посадской макарьевской поп Тимофей". Ретивые агитаторы грозились жаловаться на уклоняющихся от распространения таких прокламаций ветлужскому вождю Илюшке Иванову, надеясь, что тот расправиться со всяким нерадивыми, „ево срубит". Вполне понятно, что большинство не только за совесть, но и за страх не уклонялось от агитации. И получивший „воровскую память", шел с ней в указанном ему направлении, а если не шел, то лишь потому, что там, куда ему надо было идти, положим, в селе Покровском, вотчине Одоевского (на Унже) уже „учел быть бунт и мятеж по такому же воровскому пись-

му". [1]) Илюшка Иванов со своими письмами оказывался опасным. Это почувствовал сам московский царь по отпискам с места и забил тревогу. „И ныне ведомо нам, великому государю, учинилось", писал он, обращаясь к мятежному населению, „что в Галицком уезде в Ветлужской волости по погостам вор и изменник казак Илюшка Иванов рассылает воровские прелестные письма, а вы им верите" [2]). Ясно, надо было спешить с подавлением, ибо, чего доброго, из Илюшки мог вырости новый Стенька!

Да и в других местах были свои Илюшки. Тем более приходилось „не мешкать". И воеводы, зная, что восставший черный народ не пощадит их, всех бояр и дворян, что это продолжается натиск на их класс, на их собственность, мертвую и живую,— их земли, имущество, жен и детей, напрягли все усилия, к коим были способны, и довольно быстро подавили отдельные движения.

С инсургентами воеводы поступали беспощадно. Взятых в плен они предавали разным видам смертной казни. Скопище в Усолье было разогнано, а о судьбе 20 человек, пленных воеводы сообщили „великому государю" так: „Мы холопы твои, велели всех казнить смертью, перевешать, а пущих воров четвертовать". [3]) И всюду по громадной территории, где раньше ярким пламенем горел, наконец, прогоревший бунт, теперь закипела расправа. „На реке, на Донце, где был бой",

---

[1]) М. А. б. М. Ю., Разрядн. Приказ, Моск. стол, столб. № 439, листы 226, 227, 228.

[2]) М. Арх. б. М. Юст. Разрядн, Приказ, Моск. стол, столбец № 439, листы 13, 203, 209, 212.

[3]) Ibid. Приказ Казанского дворца, Карабановский столб., № 26.

сообщали царю воеводы-победители, „воровских казаков повешено 9 человек, на Мосяцком—ясаул 1 чел., казаков 13, в Цареве-Борисове 2 чел., в Былыклеи—8 ч. в Чугуеве—3 человека“ и пр.— „да раньше взятых воров 52 человека, которым от ран живым быть не мочно, повешены на устье речки Махмута в разных местах над Донцом и по дорогам“. Следовательно, были повешены смертельно раненые социальные враги: и таким не было пощады! На обороте донесения находим пометку: „Великому государю чтено“ [1]). Это одно из очень многих подобных же сообщений. Получались тысячи и десятки тысяч казненных. Современник иностранец сообщает ужасы о жесточайшей мести, с которой правящий класс обрушился на побежденные низы населения—голутвенных казаков, посадскую чернь и крестьянство. Вешали, четвертовали, колесовали, предварительно подвергнув мучительнейшей пытке. Виселицы ставились по берегу Волги, ставились и на плоты и с жертвами социальной борьбы пускались по течению великой реки... Даже неучастие в бунте, а лишь неосторожное слово, давшее повод заподозрить в сочувствии, вело к суровой каре, хотя и не к смертной казни. Рассказывалось однажды „о том, как вора и изменника Стенку Разина с ево воровским збором разбили и его, де, Стенку изранили“...И вот, в группе слушателей рассказчика нашелся человек, который усумнился в правдивости сообщения и сказал: „где вам Стеньку разбить?“ Его схватили. Это был крестьянин села Кисвы (стольника Михаила Ивановича Еропкина) „Симошка Безсонов“. Начался допрос. Безсонов отве-

[1]) М. А. б. М. Ю. Белгородский стол, столбец 687.

тил:—„был пьян. Вне ума пьяным обычаем, спроста, а не с мудрости и не с вымыслу молвил: где, де тебе Разина побить"?—За это было велено „учинить наказание" и при том немилостивое: „бить кнутом нещадно, да у него ж-урезать языка" [1]). Безсонов ошибся. Разин был „побит", и дело общего народного восстания разбилось на многие местные восстания с особыми своими вождями, которые не могли придать единства движению и гораздо скорее большого Стеньки тоже были „побиты". Народный пожар, с поражением и бегством от народа самого главного и общего вождя, превратился в отдельные вспышки по местам—от искр, разносимых из прежде горевших районов, и тушить их было, хотя и хлопотливее, но легче. Обильно полившаяся кровь усмиряемых окончательно залила эти вспышки. Разиновщина кончилась, остались только ее отголоски в психологии новых массовых движений и в подернутых грустью воспоминаниях черного народа [2]).

---

[1]) М. А. б. М. Ю. **Разрядн. Приказ**, Белогородский. стол, столб. № 676, листы 320 и 321, 366 и 367.

[2]) См. мою брошюру „Разиновщина, как социологическое и психологическое явление народной „жизни", изд. второе, Петерб. 1914 г., 46—50; изд. 3-е и 4-е, Москва, 1921.

Очерк третий.

БРОЖЕНИЕ В НАРОДНЫХ МАССАХ И МЯТЕЖИ ПОСЛЕ РАЗИНОВЩИНЫ (ДО ПУГАЧЕВЩИНЫ).

I.

Стрелецкое движение, Астраханский и Булавинский бунты, как отголоски Разиновщины.

Разиновщина сильно всколыхнула народные массы. Подавленное чрезвычайным напряжением всех организованных для защиты собственности сил общества, это грозное движение оставило резкие следы в народной психике. Оно послужило как бы примером того, как при случае можно поступать с властями всем недовольным ими, хотя бы и не принадлежавшим к совсем обездоленному слою „черни“,—к тем, „которые голые“, как выражаются акты разинской эпохи. Московские стрелецкие мятежи разразились в то время (конец XVII в.), когда в народной стихии еще происходило глухое брожение, перешедшее и в XVIII в. и начавшее тогда проявляться в активных выступлениях и казачества, и „черни“. Если крестьянские низы государства были подавлены, то дух Разина еще не умер в посадской черни и городской мелкой буржуазии, к которой принадлежало и стрелецкое войско. Стрельцы были первым войском, которому предстояло начать борьбу с Разиным—они были на местах в поволжских городах, они же были посланы первыми и из Москвы, но они оказались плохими борцами за государство и за

высшие классы и, большею частью, в конце концов присоединялись к движению. От этого великого движения в их настроении и быту остался резко определенный отпечаток. Стрельцы на опыте увидав, что может значить вооруженная масса, почувствовали свое значение и усвоили казацкий обычай собираться в круги для обсуждения и решения своих стрелецких дел. О прежней дисциплине, о прежнем порабощении рядовых стрельцов начальниками не могло быть и речи. Стрельцы и раньше мало занимались своим специальным военным делом, а, после Разинского мятежа, совсем его забросили, еще более чем прежде, специализировавшись на разного рода мелких торгах и промыслах. Но в то же время они продолжали оставаться вооруженной силой, хорошо знавшей, что она может натворить в государстве, если того захочет. Разина стрельцы крепко помнили не только до начала правления Софьи, но и после него, когда в стрелецком войске созревала мысль о новом перевороте в пользу низверженной царевны. Тогда один из стрелецких коноводов говорил: „Когда бунтовал Разин и я ходил с ним же. Еще я на старости лет тряхну". Итак, разинское настроение с казацкой повадкой управления жило в стрелецком войске, которое ко времени смерти бездетного царя Федора Алексеевича могло рассматриваться костром, готовым вспыхнуть даже от маленькой искры. А между тем искры, и не малые, в изобилии, посыпались на этот социальный костер из верхних сфер, когда он загорался уже снизу. Загорался он от обычной причины: от злоупотреблений стрелецкого начальства; многие полковники притесняли стрельцов, недодавали им жалованья, заставляли работать на себя. В Москве было расположено 20 полков—сила,

весьма серьезная, при отсутствии всякой другой вооруженной силы, и она менее всего способна была сносить злоупотребления своего начальства. В стрелецких кругах шумели, грозились, составляли челобитные. Так дело обстояло внизу. Наверху тоже происходила смута. Эта смута использовала бунтовское настроение стрельцов, подняла их на правительство Нарышкиных, и после кровавой стрелецкой расправы с главными членами этого правительства дала власть царевне. Естественно, в начале Софья оперлась на стрелецкое войско. А это последнее, как и подобает войску, зараженному разинским духом, старалось опереться на низы. С этою целью, истребляя ненавистных им бояр, стрельцы об'явили волю холопам, изодрав кабалы в холопьем приказе. Словом, они считали, что действуют от лица народа и стоят за его высшее выражение—веру и за носителя верховной власти—великих государей. Они потребовали, чтобы новое правительство признало все убийства, совершенные ими во время бунта, справедливым и необходимым народным и государственным делом, что „побития“ ими произведены „за дом пречистые Богородицы и царское пресветлое величество и за неистоство к великим государям, и стрельцам“. В самой этой формуле восстания слышится отголосок „прелестных писем“ Разина. Смотря на „побития“, как на казнь „изменников“, повинных в „неистовствах“ по отношению к государям и стрельцам, стрелецкое войско в своей челобитной на имя государей просило, чтобы государи „пожаловали“ стрельцов за „многие“ их „службишки, указали на Красной площади учинить столб и тех побитых злодеев и вины их за что побиты, на том столбе имяны подписать, чтоб впредь иные, помня крест-

ное целование, чинили правду". Просили стрельцы, и о том, чтоб повсюду были посланы „жалованные грамоты", в силу которых никто не смел бы называть стрельцов „бунтовщиками и изменниками", „никого бы" из них „в ссылку не ссылали, не били и не казнили" и пр. В этой челобитной стрельцы сделали уступку правящим классам, отказавшись от солидарности с „боярскими людьми", т. е. холопами, стремившимся к освобождению от кабалы, ибо стрельцы, как мелкая торгово-промышленная буржуазия, в конце концов, тяготела не к неимущим, а к имущим. Правительство исполнило стрелецкую просьбу: столб с именами побитых и с прописанием их вин был поставлен незамедлительно. Уступило правительство той силе, которая его воздвигла, и в другом стрелецком требовании—допустить прение о вере между старообрядческими учителями и патриархом. Стрельцы тянули к старообрядчеству, и некоторые вожди его, как Никита Пустосвят и чернец Сергий, хотели, при их помощи, добиться торжества старой веры, подобно тому, как София с их же помощью достигла власти. Но в этом стремлении и расколоучители, и стрельцы пошли очень далеко. Правительница поняла, что те и другие—враги того общественного слоя, к которому она сама принадлежала. А потому она поспешила опереться на свой класс—дворянско-служилый, который и в разинское время отстоял себя и, следовательно, наличный государственный порядок. После решительной расправы с расколоучителями, и стрельцы были приведены в полную покорность, а столб—эмблема прежней их непокорности, реабилитировавший их поведение в 1682 году, был убран.

На Волге после разиновщины тоже не было вполне спокойно. И не могло быть. Состав поволжского населения оставался прежний, и попрежнему местное население раздражалось системой управления и хозяйствования, а пришлое—являлось уже раздраженным со всех концов русской земли. Продолжались и религиозные притеснения, о которых хорошо помнит, между прочим, и татарская летопись [1]). Эта летопись религиозные преследования мусульман в конце XVII века, при Федоре Алексеевиче, считает причиной „великих смут". Смуты, действительно, были, но в основе их лежали не религиозные, а экономические мотивы, руководившие, например, мятежами башкирцев при Петре Великом.

Астраханский мятеж при том же государе тоже вытекает из прежней причины воеводских притеснений и вымогательств; но поводом к нему опять-таки было постоять за старую веру, которой, по мнению астраханского народа, руководившегося пропагандой опальных стрельцов, грозили „новшества" Петра первого. Было и не без курьезов: так, астраханцы очень были напуганы „кумирными богами", которых они видели у местных начальных людей, как иноземного, так и русского происхождения; а, по выяснении дела, кумирные боги оказались просто манекенами для париков. И начался мятеж довольно весело-свадебным бунтом. Боясь, чтобы их дочерей попечительное начальство не отдало замуж за иноземцев, астраханцы начали усиленно отдавать своих девиц замуж за своих русских, и в один день было сыграно до 100 сва-

---

[1]) Отрывок из одной татарской летописи о Казани и Казанском ханстве. Казань 1905 г.

деб,—солидное количество, чтобы движение, начавшееся весело, кончилось печально. Сильные возлияния несомненно обострили враждебное отношение к воеводе: он был убит народом, и последний ввел у себя казацкое устройство. Почин Разина в Астрахани не прошел бесследно в Нижнем Поволжье, и таким образом явилась вторая попытка местного самоуправления казацкого типа. Движение из Астрахани перебросилось в Красный и Черный Яр, но так как не было поддержано казачеством, то скоро было подавлено. В эпоху Петра Первого особенно обостренно давали себя чувствовать давления со стороны высших классов и их организованного господства—государства. Торговый капитал пошел сильно в гору, и государство стало вполне буржуазным; помещик, ища коммерческой прибыли, пред'явил усиленные требования к своему „поданному"—крестьянину. А крестьянин усиленно ударился в бега. Эммиграционный поток, вследствие того, попрежнему разливался по восточным рекам, переливаясь и в Сибирь. Дон переполнялся беглыми крестьянами, а так как правительство Петра Великого не мирилось с этим, требовало их выдачи и посылало, для отыскания беглых, в донские городки воинские команды, то в беднейшей части донского казачества, подкрепляемой пришлыми крестьянами, снова возродилось мятежное настроение,—и закипел Булавинский бунт,—не только казацкий, но и вновь явившейся на Дон крестьянской голытьбы,—бунт за ее право жить на свободе, в казаках. Напрасно некоторые думают, что во время этого движения по кличу Кондратия Булавина „никаких демократических лозунгов не выдвигалось". Не надо забывать, что это народная революционная вспышка, а потому в ней проявв-

ляется чисто народные вкусы и стремления. Простой народ в обычное время нудно и скучно живет, в вечном труде и заботе об ежедневном пропитании; естественно, в минуты восстания, крайнего психического возбуждения ему хочется развернуться, загулять, насладиться жизнью. Вожди движения знают это и потому, как Булавин, зовут его и для этого, чтобы еще более привлечь его к делу восстания и к себе; отсюда призыв: „Кто похочет с военным походным атаманом Кондратием Афанасьевичем Булавиным погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить да поесть, на добрых конях поездить, приезжайте в черны вершины Самарские“. Обещание дать простому народу хоть миг довольства и счастья, это уже „демократический лозунг“. Но главная цель восстания за казацкую свободу для беглых, измученных и обворованных помещиками людей,—разве это не демократический призыв? Неволя и бедность, даже нищета—были причинами Булавинского восстания, но поводом, как и в Астраханском бунте, были петровские „новшества“, ненавистные народу, как принадлежность помещичьего класса, тогда как старая вера выдвигалась, как чисто народная вера и она действительно, сделалась в старой России демократическим знаменем.

II.

Крестьянское движение в XVIII ст. (до Пугачевщины).

После Булавинского мятежа брожение среди крестьянства продолжалось. Возникали отдельные, спорадические вспышки протеста крестьян против того положения, в которое их ставили жизнь и закон. При Петре I и ближайших его преемниках—до Елизаветы—крестьянство в целом было сравнительно очень терпеливо, ибо условия государственной и общественной жизни России не успели еще привести большинство народа в такое состояние, в котором стало уже невозможно терпеть,—и тогда крестьянский протест начал делаться более острым, более настойчивым и устойчивым. Именно с 50 годов XVIII века крестьянское „непослушание" повторяется чаще и чаще и быстро переходит в хроническую, затяжную форму повсегодных волнений в разных местах империи. Этот период почти постоянных крестьянских волнений открывается движением заводских и фабричных крестьян. Несмотря на понимание правительством того, что общая причина волнений заводских и фабричных крестьян—их работа и невыносимое положение, что главными „заводчиками" волнений являются сами заводчики и их приказчики,—затишье в Приуральском крае, важнейшем горнозаводском районе, было достигнуто не уступками крестьянам в их справедливых челобитьях, а кровью волновавшихся, и поддерживалось оно силой „усмирителей" и страхом „усмиренных"; естественно, оно не могло быть продолжительным: оно могло просуществовать не долее того, чтобы несколько забылось впечатление от

подавления и экзекуций, и чтобы в крестьянской душе опять скопилось электричество гнева и ненависти для новой, еще более страшной грозы.

А между тем облегчение положения крестьян было и тогда, разумеется, способно вести их к быстрому и относительно прочному успокоению. Примером этого служат церковные крестьяне, все находившиеся в восстании пред секуляризацией: стоило только состояться последней, как волнения монастырских крестьян немедленно прекратились и уже более, если не считать некоторого участия их в Пугачевщине, не возобновлялись. Обратное зрелище с момента секуляризации представляли помещичьи крестьяне. Спорадически „возмущавшиеся“ и раньше, эти, самые многочисленные, крестьяне, составлявшие в первой половине 60 годов XVIII века 52,9% всех крестьян Великороссии и Сибири, начали волноваться постоянно, хронически, именно с тех пор, как были освобождены от крепостной зависимости монастырские и архиерейские крестьяне. Это явилось острым поводом к брожению среди помещичьего крестьянства. Оно начало ждать от царя „воли“ и для себя, будучи возбуждаемо к такой надежде еще и тем обстоятельством, что в эту же пору их господа, дворяне, были освобождены от обязательной службы. Петр III „манифестом“ раз'яснил, что надежда помещичьих крестьян на перемену их положения, внушаемая им деревенскими агитаторами, неосновательна; но это „раз'яснение“ не удержало крестьян от волнений; волнения усилились и продолжали усиливаться, по мере того, как положение крестьян ухудшалось от все более и более затягиваемой крепостной петли...

Дворянский произвол стал доходить до крайних размеров, а терпение „поданных“ в 60-х годах стало истощаться...

Крестьяне жаловались на тягчайшие поборы и на всевозможные злоупотребления помещиков предоставленною им небывалою властью; доведенные „до крайности“, убивали помещиков и бежали, куда глаза глядят, или целыми вотчинами становились „непослушны“, возмущались.

Крестьянские волнения подготовляли крестьянство к общему, широкому взрыву против „господ“, и на этого рода опасность намекала высшему государственному органу правящего сословия— сенату сама Екатерина II.

По мере того, как усиливались волнения помещичьих крестьян, борьба с ними государства становилась все более и более затруднительной. Чтобы она шла, по возможности, планомерно, военная коллегия составила даже особую „инструкцию“, которой должны были следовать начальники воинских команд, посылаемых для „усмирения“. Сенат, полагая со своей стороны, что нельзя раз навсегда определить порядок восстановления крестьянского „послушания“, постановил все дело по „усмирению“ оставить в компетенции военной коллегии и повелел последней снабжать начальника экзекуционной команды каждый раз письменной инструкцией, сообразно обстоятельствам данного возмущения. Сенат внушал военной коллегии также и о том, чтобы она „предостерегала“ воинских начальников против поспешности перехода к „разорению, пожогам и кровопролитию“; но так как сам же сенат приравнивал волновавшихся крестьян к „неприятелю“, то упомянутое „предостережение“ обыкновенно не имело практического значения,—и усмирение по-

мещичьих крестьян, большею частью, сводилось все к той же крайней программе действий: не щадить ни имущества, ни жизни восставших крестьян. Лучшее доказательство законности пред'явленного крестьянам требования воинские начальники видели в... оружии.

Волновавшиеся крестьяне помещика Фролова-Багреева пожелали выслушать указ. В ответ на это капитан, начальствовавший командой, выхватил из ножен шпагу и крикнул: „Вот вам указ"! Такая аргументация, разумеется, повела „к кровопролитию". Крестьяне, долженствовавшие перейти по смерти князя Н. Шаховского к его сестре поручице Наталье Пассек и не соглашавшиеся на это (по сведениям Воронежской губ. канцелярии), потребовали указа. „Вот мы вам дадим указ!" закричало начальство, и по крестьянам был открыт огонь.

Кровопролитие обыкновенно бывало обоюдостороннее, и иногда помещичьи крестьяне, как и заводские, обращали команду в бегство; так, напр., было в данном случае; так было и при волнении крестьян в имениях Измайлова и Кротковой (в Симбирском уезде), когда крестьяне, не только мужчины, но и женщины, стремительно атаковали команду и, невзирая на ее ружейный залп по ним, нанесли ей воистину „конфузию".

„Сила солому ломит",—и, конечно, после таких временных „конфузий" для войска, оно же, явившись в большем количестве, всегда „успокоивало" волновавшихся.....

Прекращались отдельные „возмущения", но не прекращалось брожение и негодование в крестьянстве, и потому, по окончании одних волнений, быстро возникали другие. В царствование Екатерины II до

1773 г. т. е. до начала Пугачевского мятежа, специалист по истории русских крестьян насчитал (по архивн. и др. источникам) около 40 волнений; но вероятно, их „было более“.....

Особенно усилились волнения помещичьих крестьян в 1767—68 г. г. Это было время, когда была созвана и приступила к работам знаменитая законосовещательная комиссия депутатов; среди них не было представителей крепостного крестьянства,—и „последние рабы“ принуждены были по-прежнему и даже усиленным образом прибегать к „преступлению“, т. е. путем открытого „непослушания“ заявлять о своем невозможном положении, о своих насущнейших желаниях.

Но вот послышались вести о близком освободительном или, по крайней мере, облегчительном указе для крепостных. Волнения затихли.

Крестьянство начало ждать.

В период между 1770 и 1773 г. г. неизвестно ни одного волнения помещичьих крестьян. В этот момент крепостные, подавив в себе горечь обиды за оставление их вне разрядов народного представительства, в „рабах“, ждали царского указа и дождались, наконец только... Пугачева....

Очерк четвертый.

ПУГАЧЕВЩИНА.

I.

Личность Пугачева и его похождения до открытого выступления.

Емельян Иванов Пугачев своим внешним видом не поражал. Среднего роста, довольно плечистый со спущенными на лоб подстриженными в кружок волосами и с кругловатой черной бородой на скуластом, самом простом мужицком лице, он представлял обычный тип простолюдина; его, пожалуй, совсем нельзя было бы отличить в простонародной толпе от ему подобных, если бы не большие и живые черные глаза, в которых светились ум и лукавство; глаза Пугачева, бойкие и быстрые, поблескивая свой чернотой и белками, от соседней черноты еще более белыми, выделяли этого человека из толпы. Но рассматривая его наиболее достоверный портрет (в летописи Оренб. осады Рычкова, см. Акад. изд. сочин. Пушкина т. XI, примеч. Н. Н. Фирсова), мы тщетно стали бы отыскивать в лице Пугачева какие-либо признаки исключительной одаренности, могучей воли, даже просто необыкновенной жестокости, ничего подобного мы не найдем в этом лице; нет, это слишком обыкновенное лицо; оно скорее благодушно, чем свирепо, и только в больших темных зрачках заметна какая-то болезненная напряженность, как бы говорящая нам о том, что этот человек, может быть, и себе на уме, но также

не чужд и некоторой фантазии и способен фанатически прилепиться к идее, претворить ее в жизненный план, подобно тому, как это раньше делал всякий мало мальски сосредоточенный в себе раскольник, а теперь делает любой „умственный", серьезный сектант. Но не представляя по внешнему своему виду ничего особенного, Пугачев все-таки не был вполне заурядным, серым человеком. Он от природы был бойкий, расторопный малый, в высшей степени подвижная натура, и из него выработался один из тех типов, которые нередко выходили из широкого мира старой бродячей Руси. Уже в юноше-Пугачеве, участнике семилетней войны, его военный начальник заметил „проворность" и за это свойство взял его в свои ординарцы. „Проворность" как нельзя лучше пригодилась Пугачеву в его дальнейшей скитальческой жизни, вывела его из многих бед и, еще более развившись от жизненных испытаний, бросила в отважные и крайне рискованные предприятия. Самостоятельная бродячая жизнь Пугачева началась после турецкой войны, во время которой он дослужился до 1-го офицерского чина—хорунжего. Отпущенный гр. П. И. Паниным на побывку домой по болезни, Пугачев больше уже не вернулся в армию, к казенной службе. И случилось так потому, что он, будучи в отпуску, довольно скоро перешел на нелегальное положение, оказался в бегах. Не добившись отставки по болезни, проявившейся в каких-то язвах на руках и груди, он вместе со своим зятем бежал на Терек, но и там ему не повезло. Как беглый, он был арестован и прикован на гауптвахте к стулу, но это не помешало ему бежать с тремя звеньями цепи и с подговоренном к побегу караульным солдатом. Вторично схваченный

и заключенный Пугачев, снова бежал. На этот раз он искал себе опоры и нашел таковую в раскольниках, выдавая себя самого за раскольника. После этого где только не побывал Пугачев! Побывал он в Польше, где, повидимому, еще более сблизился с раскольничьим миром—в одном из важнейших раскольничьих гнезд на Ветке. Поэтому, когда Пугачев из Польши возвратился на льготном основании (в силу указа Екатерины II о беглых в Польшу), то, неудивительно, что он в сущности начинает следовать всем директивам, которые получил от раскольников. Так один из держателей Пугачева, раскольник Кожевников, направлял его на Иргиз в самые недра раскола Мечетную Слободу, к раскольничьему старцу Филарету,—и Пугачев посетил и эту слободу, и этого старца. Перед тем он пожил в дворцовом селе Малыковке, тоже в раскольничьем гнезде, и в это время уже знал о появившемся в Царицыне государе Петре Федоровиче, схваченном там царицыными властями, но успевшим скрыться „неизвестно куда". Старец Филарет сообщил Пугачеву, вошедшему в полное его доверие, об отчаянном положении яицких казаков и об их намерении „бежать к Золотой мечети", и нет ничего невероятного в том, что здесь, у старца Филарета, окончательно был выработан план иным способом улучшить положение яицких войск, вместе с тем и послужить и старой вере. От Филарета Пугачев отправляется никуда в иное место, а именно на Яик. В раскольничьем мире тогда происходило сильное брожение. Он был не менее недоволен своим положением, чем разгромленное яицкое казачество. От петербургского правительства Екатерины II не ожидалось тех гарантий, какие раскольничий мир

мог получить от Петра III, который прекратил сразу гонения на раскольников, и когда этот государь так быстро и таинственно исчез с российского трона, то общий вздох сожаления о нем, об его безвременной гибели, вырвавшийся из раскольничьей груди, был так глубок и искреннен, что невольно заразил сочувствием к погубленному Екатериной и барами царю все простонародье. В лице крепостного крестьянства оно ждало от Петра III освобождения от барской неволи, подобно тому как он освободил от монашеской неволи так называемых экономических крестьян, переведя их из под власти монастырей и др. церковных учреждений под власть государства. Простонародное сочувствие к Петру III, распространявшееся, как луч света, бесчисленными радиусами из раскольничьих центров по всему необозримому народному морю, всколыхнуло его ожившими в „черни“ надеждами и ожиданиями. Ожили надежды и ожидания, разыгралась бурно народная фантазия—ожил и Петр III. Пошел слух, что он не умирал, не убит, бары и царица ошиблись в расчете—„батюшка“ спасся и скрылся, но явится, уже являлся, но опять скрылся—и снова явится. Раскольники вели агитацю в этом смысле, а появление самозванцев одного за другим укрепляли массы в убеждении, что это и есть сущая правда. Едва ли можно сомневаться в таком толковании этого вопроса, что раскол был вдохновителем самозванческой авантюры Пугачева, хотя он потом и отрицал это. Вся совокупность фактов и логика событий заставляют нас сделать такой вывод. Раскольники прикосновенны сильно к пугачевскому предприятию в его начале, лишь потом, при ликвидации его в жизни, они как-то исчезают со сцены, увидав безнадежность восстания. А раньше

они готовились к торжеству „старой веры“ вместе с торжеством об'явившегося, симпатичного им, законного царя. В Саратове, напр., как мы узнаем из подлинного следственного дела о Пугачеве, перед его выступлением коллективно изучалась „раскольничья библия“; кузнечный мастер Горбунов впоследствии показывал, что ему с братом эту библию читал некто Савич. Вообще, в раскольничьих кругах к чему-то готовились; дальнейшие события показывают, что, повидимому, обдумывался план поднять казачество, а потом весь народ на защиту „старой веры, через возвращение престола ее другу-императору Петру Федоровичу. Трудно думать иначе, особенно если принять во внимание то почитание, которое раскольники питали и до сих пор питают к памяти Петра III, образ коего в их сознании ассоциируется с образом христа-искупителя. (Дальнейшие похождения Пугачева тоже свидетельствуют, что его блюло недреманное раскольничье око.) Попавшись в руки властей и будучи заключен в (Казанскую тюрьму,) он бежал оттуда при помощи раскольников. Самое указание ими же на яицких казаков, недовольство которых екатерининским правительством могло сыграть роль фактора, возбуждающего их к восстанию, весьма знаменательно: (яицкое войско было привержено к старой вере, и раскольники имели основания надеяться, что в числе лозунгов их восстания за обретенного государя будет старая вера.) Раскольники и не обманулись в своих надеждах, как на Пугачева, так и на яицких казаков. Последние приняли первого и стали скрывать его по разным степным хуторам. С „Талового Умета“ пахотного солдата Оболяева Пугачева перевезли на хутор казаков Кожевниковых, потом „в караули-

стое место", на Усиху и, наконец, на хутор казака Толкачева. Здесь было решено, что подготовка для открытого выступления „государя" достаточна: у него была уже хорошая казацкая шапка, красный кафтан, знамена с осьмиконечным крестом и до 80 человек разного сброда „подданых". Перед ними-то 17 сентября (1773 г.) и были распущены знамена „об'явившегося государя" и прочитан его первый манифест. При первой встрече с правительственными войсками у Пугачева было 140 человек, а 18 сентября его толпа увеличилась до 300 чел. Восстание началось успешно, хотя на первых порах, при встрече с правительственными отрядами, Пугачев и подумал, что „разберут по рукам". Не только не разобрали, но часть казаков даже присоединилась к „Петру Федоровичу". От Яицкого городка, к которому прежде всего подошел этот вынырнувший из оренбургской степи „император", ему пришлось отойти, он предпочел двинуться на крепостцы меньшего значения, и здесь его сопровождал успех за успехом. Восстание быстро разгоралось и становилось серьезным, хотя в Петербурге долго этого не понимали или не хотели понимать. Оно и научно вполне может быть понятно лишь при условии, если вскроем его глубокие корни, выясним его социологические причины.

II.

Общее положение.

Основная причина Пугачевщины заключалась, разумеется, в общем положении нисших классов России. Предшествующая история России, как

особого государственного соединения, шла так, что материально и духовно развивались только высшие классы, ибо все усилия их были направлены на развитие государства, следовательно—их самих, а нисшие классы являлись, как бы, колонией по отношению к высшим классам, неустанно и без меры ими эксплоатируемой с древнейших времен, когда неорганизованные массы подчинились власти организованных верхов общества, власти государства. В России по особым местным условиям борьбы и отношений с внешними врагами иной расы создалась особенно рабская зависимость масс от этого самого „государства", по отношению к которому нисшие классы превратились, как бы, в живой инвентарь. На этой почве безмерной эксплоатации государством народа и образовались в России две неравных стороны—немногочисленные, но богатые и сильные своею „государственной" организованностью господа, бояре, баре, мироеды—кулаки и многочисленная „чернь" или по барской терминологии XVIII в. „подлые люди", сильные только своим количеством, но слабые своей неорганизованностью, некультурностью и умственной отсталостью. Большая часть этой „черни" приходилась на долю крестьянства, в свою очередь более чем на половину в XVIII стол. находившегося в крепостном состоянии.

Одно упоминание о крепостном состоянии вызывает в уме каждого представление о крайней степени гнета, вполне достаточного для того, чтобы сделать угнетенных непримиримыми врагами угнетателей. Такое же положение вещей могло вести лишь к полному отчуждению крестьянства от их владетелей—помещиков, а следовательно, от всех властей, административных и судебных, так или

иначе содействовавших помещичьему гнету. Это отчуждение было на лицо в XVII стол., когда народу московское государство представлялось боярским и, как таковое, отрицалось; отсюда понятна анархичность всех народных движений того века, не смотря на самозванных царей и царевичей, во имя которых поднимались народные массы, не смотря на разинский лозунг—бороться „с боярами" за государя; ибо царь признавался постольку, поскольку он должен быть хозяином, радеющим о черном народе, по скольку он был свой мужицкий (следовательно, чисто классовый) царь и только, а у наличного царя, которого ругательски ругали разинцы,—сам вождь движения, на словах якобы не разрывавший с московским монархизмом, обещал „на верху" сжечь все „дела", т. е. все его государственное делопроизводство. Надо все это принять во внимание, чтобы понять пугачевщину: она продолжала предшествующую народную историю, шедшую обыкновенно в разрез и наперекор с историей государства и высших классов.

Но в XVIII веке явились еще более оттягчающие условия жизни низов населения, как городского „посадского", так в особенности крестьянского. Дальнейшее и значительное развитие денежного хозяйства сильно ухудшило положение трудящихся в России. Крепостное крестьянство остро почувствовало на своей спине власть денег, ибо помещики нуждавшиеся в них для своей роскошной и дорогой жизни, налегали на своих крепостных всею силою своей господской власти и выжимали из своих подданных деньги в оброке, на который они перевели большинство крестьян в нечерноземных губерниях, или вообще через большую интенсификацию своего сельского хозяйства, превращавше-

гося у крупных владельцев из прежнего патриархально-барщинного в подлинное плантатарское, лишь с „белыми рабами“. Власть помещиков в XVIII стол. чрезвычайно усилилась, а при Екатерине II дошла до своей кульминационной точки. Императрица Елизавета запретила крепостным жаловаться на своих господ под страхом ссылки в Сибирь на поселение; при Екатерине II это запрещение было подтверждено с сугубым устрашением ссылкой в каторжные работы. Таковы были юридические „нормы“, в которые государство ставило крепостного. Этих „норм“ было достаточно, чтобы обратить помещика в своеобразного феодала, а крестьянина в его „раба“. Если крестьянин, подданный такого владельца, был „мертв“ в написанном законе, то барин—феодал был для крестьянина неписанным законом, от которого нередко и в жизни крестьянин оказывался мертвым.

Правда, помещик не имел права судить крестьянина за такие преступления, как побег, воровство, и т. п.; он должен был обращаться в таких случаях к городской юстиции, что и указала императрица по поводу одного уголовного дворянско-крестьянского дела, в то время, когда Екатерина еще часто повторяла гуманные „аксиомы“ „Наказа“; но подобные указания на практике не достигали и не могли достигнуть цели, ибо находились в противоречии с чрезвычайными фактическими „правами“ помещика над крепостным и с запрещением последнему жаловаться на господина. Получив право ссылать своих крестьян в каторжную работу, помещик естественно полагал, что он может подвергнуть его и своему домашнему следствию, суду и телесному наказанию, и этот господский самосуд и был обычным явлением в дворянско-крестьянской

жизни той эпохи. Самосуд этот практиковался не только по таким крестьянским проступкам, которые были подсудны городской юстиции или помещику, но даже просто по всяким ничтожным обстоятельствам, не составлявшим никакого проступка, но почему-либо возбудившим неудовольствие и жажду наказания в помещике; напр., в одном журнале „Домового управления“ (1763—1765 г.г.) назначалось 5000 розог крестьянину за манкировку причащением: набожный помещик розгами гнал крестьян к „святому причастию“. Такое положение вещей в тех случаях, когда самосуд не кончался смертью наказуемого, не казался ненормальным даже образованным, по своему хорошим, помещикам того времени. Надо различать три главных типа тогдашних помещиков. Всем известен страшный тип жестокого барина, иногда засекавшего на конюшне и забивавшего крестьян на смерть, или барыни—„мучительницы и душегубицы“,—преимущественно крепостных женщин и девушек из ревности к своим крепостным любовникам. Некоторые дела таких „благородных“ преступников и преступниц доходили до высшего суда в империи—сената, обращали на себя внимание самой императрицы, и виновные не оставлялись без того или иного наказания, хотя в иных случаях все эти сверх—развратники и сладострастницы, растлеватели малолетних, алкоголики и садисты, может быть, нуждались более в психиатрической лечебнице, чем в правительственном истязании и в тюрьме. Таких исключительных любителей и любительниц зверства по отношению к крепостным, субъектов с ненормально злой волей и извращенными чувствами было, конечно, не так много: в лице их крепостное право поражалось самой человеческой природой, не могшей в случае

наследственной неуравновешенности вынести, без вреда для психо-физического организма, громадную власть помещика над крепостным, даваемую законом и еще преувеличенную жизненной практикой; наличность таких суб'ектов в прошлом показывает, до каких патологических крайностей могло доводить крепостное право представителей одной стороны—дворянской.

Большинство помещиков не было похоже ни на знаменитую Салтычиху, ни на мало известного, но не менее зверского поручика Шеншина, организатора настоящего застенка для своих крепостных; большинство представляло обыкновенных людей, просто сельских хозяев того времени, смотревших на крепостного, как на существенную принадлежность своего хозяйства, и приблизительно с тою же внимательностью, с какой порядочный помещик относится к своему четвероногому инвентарю, он относился к человеческой рабочей силе, жалея ее не менее чем своих лошадей и коров, но не любимых собак, удостаивавшихся часто большей барской заботы. Были среди этого большинства обыкновенных помещиков люди, слывшие среди крепостного населения за добрых, хороших господ, образованные агрономы, в роде известного Болотова, не наказывавшего своих крестьян по прихоти, без вины, а при наказаниях боявшегося, как бы не засечь крестьянина на смерть, помещики, заботившиеся о благосостоянии своих крестьян, понимавшие, что это благосостояние—их благосостояние и потому хлопотавшие в Комиссии Нового уложения о торгово-промышленных интересах крепостного крестьянства, помещики, кормившие крестьян в голодные года, строившие крепостным дома после пожаров, снабжавшие своих крепостных инвентарем,

но все они смотрели на крепостное население, в сущности, как на рабочий скот, который надо беречь потому, что он необходим, и которым можно распоряжаться по своему усмотрению—соединять пары для „умножения земледельцев", сдавать в солдаты негодных почему-либо для хозяйства или просто прогневавших помещика, ссылать в Сибирь с получением за это рекрутской квитанции (так как крестьяне, ссылаемые помещиками в Сибирь, зачислялись за требуемых с помещиков рекрутов), продавать оптом и в розницу, ради поправления своих дел, даже просто ради денег на покупку разных предметов роскоши и дорогих собак, продавать, не разбирая покупателя, нередко приобретавшего девушку для своего крепостного гарема, проигрывать в карты; словом, самые лучшие помещики были убеждены в справедливости такой власти над крепостными, которая бывших служилых людей, получавших поместья за службу и под условием службы по первому требованию, превращала в рабовладельцев, свободных теперь от обязательной службы государству и потому владевших населенными имениями уже на основании только своего „благородства". Вот в этом-то и заключается весь ужас крепостного права: большая часть крестьянства очутилась в фактическом рабстве у дворянства, считавшего рабовладение своей сословной привилегией, а свою власть над крестьянами такого же „божественного" происхождения, как и всякая власть предержащая над людьми. В ту же категорию обыкновенных помещиков, которых никто из современников не назвал бы „злодеями", следует отнести и тех, которые всех крестьян переводили на так называемую „месячину", т. е. на свое помещичье содержание, значит, отбирая у них всю

землю на себя и заставляя их работать только на барина из-за прожитка,—и тех, которые прямотаки хищническим образом относились к крестьянскому труду и доводили своих „рабов“ до такого состояния, каковое, напр. изображено в одной крестьянской челобитной: крестьяне, дабы заплатить своему барину непосильный оброк, „продали последнее из домишек своих, экипажишки и скот“. Другой подобный же хозяин—хищник запрещал писать своему приказчику о крестьянах, что они нищие и „ходят по миру“, говоря, что он „хочет воров разорить и довести пуще прежнего“: „уповаю и надеюсь“, пояснял барин, „до 1000 р. взыскать с них без всякого сумнительства и разорения. Мужик сер, да ум-то у него не черт с'ел“. Третий помещик хвалился, что он „нажил себе не малое имение от сбора черезчур великих податей с мужиков своих“. Третий тип помещика—помещик—магнат, большей частью не живший в своих поместьях. Этот тип не смягчал ужаса крепостной зависимости, скорее даже увеличивал его, ибо „управители“, не имея мотива в той же мере жалеть крестьян, как настоящие хозяева—из чисто хозяйственных побуждений,—нередко разоряли их своим хищничеством, наживаясь сами и, стремясь не обидеть своих вельможных хозяев, нередко из далека, из чужих стран, пред'являвших к своим экономиям непосильные для их населения требования. Такие помещики—магнаты иной раз были людьми самого последнего образования, побывавшими для поклона у Вольтера, прочитавшими немало книг по самым животрепещущим, „модным тогда, вопросам в Европе—о свободе совести, о „системе природы“, проникнутыми самым возвышенным настроением, ибо уже затвердили

великую идею об естественных правах человека и гражданина, словом, теми людьми высшего просвещенного общества, которых у нас окрестили „вольтерьянцами". Но суть дела заключалась в том, что эти самые вольтерьянцы больше хороших книг любили хорошую жизнь—заграничные „вояжи", в которые тогда ударились крупные русские бары, проживая в Париже огромные суммы денег и сделавшись там и в других европейских центрах „притчей во языцех", каким-то символом пустоголового мотовства; любили они безумно—роскошную жизнь и в нашей Северной Пальмире, подражая двору Северной Семирамиды,—и, понятно,—обычных, весьма больших доходов с многочисленных имений не хватало—и вот для эпикурействующих „филозофов" начиналось выжимание последних соков из несчастных „рабов", над горькою участью которых наш поклонник „освободительной философии" первый же готов был проливать отвлеченные, теоретические слезы, самые дешевые из всех человеческих слез. Во время путешествия Екатерины II в Поволжье ей было подано более 600 челобитных, в которых помещичьи крестьяне жаловались на тяжкие поборы с них помещиков, но все эти челобитные были возвращены просителям, причем подтверждалось запрещение подавать такие жалобы, а сенат, рассматривая их как тяжкое уголовное преступление, указом (22 августа 1767 г.) подтвердил запрещение крестьянам жаловаться на помещиков под угрозой каторжной работы за это правонарушение. Ясно было, что мирным путем, путем петиций крестьяне ничего не могли добиться от государственной власти, находящейся в дворянских руках. Бедственное положение крепостных отразилось и в простонародном литературном творчестве;

какой-то грамотей из крепостных составил целое большое стихотворение, напечатанное под заглавием—„Плачь холопа“, в котором слышится и горе невыносимо тяжелой жизни крепостных, и ненависть их к „господам“, виновникам „бедства“ „холопьей“ жизни.

О, горе нам, холопем, от господ и бедство!
А когда прогневишь их, так отнимут и отцовское наследство.
Что в свете человеку хуже сей напасти,
Что мы сами наживем—и в том нам нет власти.

По мнению автора „Плача“, единственное средство избавиться от злых господ, это истреблять их—

Ах, когда бы нам, братцы, учнилась воля,
Мы себе не взяли бы ни земли, ни поля,
Пошли бы мы, братцы, в солдатскую службу,
И сделали б между собою дружбу,
Всякую неправду стали б выводить.
И злых господ корень переводить.

Крепостные массы шли дальше своего поэта: они таили в себе мечту о „выводе“ из жизни всех господ,—это было итогом всей страшной истории крепостного крестьянства.

Тяжело было положение и казенных и дворцовых крестьян, у которых помещиками были—у первых государственная казна т. е. правительство, у вторых—царская фамилия. Эти крестьяне, сверх подушной подати (70 к. с души), платили оброк, возвышавшийся весьма быстро, но не быстрее помещичьего оброка: в 1760 г. они платили 1 рубль, в 1768 г. оброк с них был увеличен до 2 р., каковую сумму в 60-х годах платили (в среднем) и

помещичьи крестьяне. Но казенные крестьяне имели над собой слишком много прикащиков в виде государственных чиновников, и потому они стонали под игом этих последних, своими взятками и притеснениями делавших положение казенных крестьян иногда не лучше, если не хуже, помещичьих.

III.

Положение населения в Поволжье и Приуралье.

Особенно тяжело от чиновничьего ига приходилось инородческому населению Поволжья и Приуралья, где власть не уставала чувствовать себя победительницей и потому считала своим неотъемлимым правом не церемониться с управляемыми. Так как, однако, излишек притеснений порождал некоторые неприятности и на местах, дававшие в конце концов, себя чувствовать центру,—или в виде волнений и бунтов, или в виде потери населением платежной способности, от чего запускалась недоимка,—то правительство было вынуждено принимать меры к выяснению причин прискорбных явлений с целью их устранения на будущее время. Назначались „осмотры“ обширных восточных районов, расследования местных злоупотреблений, имевшие значение позднейших сенатских ревизий. В начале царствования Екатерины II подполковнику Свечину было поручено исследовать „причины бедности Казанской губернии государственных крестьян“. Подполковник „исследовал“ и нашел, что „причины“ означенного печального явления заключается в „разных обидах и народных поборах“, эти-то „обиды и поборы“, невыносимые для народа, и

привели „многих“ крестьян „в безнадежность“ ко платежу подушной подати. Следовательно, платежная способность крестьянства в корне подрывалась чиновничьим хищничеством: с этим не могла мириться центральная власть, терявшая свои доходы; но что она, управляя через чиновников, могла предпринять целесообразное против своих доверенных слуг, в сущности против самое себя? Уловить чиновников было трудно, ибо контролеры были тоже чиновники, умевшие затемнять дело не хуже контролируемых и ревизуемых и в результате оставлявшие правительство с пустыми руками. И подполковник Свечин ничего не мог толком разобрать в этих местных делах и делишках, ибо то, что Свечину было весьма необходимо знать и о чем казанская губернская канцелярия и адмиралтейская контора „основательные сведения безотговорочно были должны иметь“, осталось совершенно не освещенным, да и неудивителен был такой общий итог расследования: упомянутые учреждения „темнили“ в своих „промемориях“, „так что“, жаловался сенату в рапорте Свечин (от 29 февраля 1764 г.), „правого с виновным и самого дела основательно знать не можно“ [1]).

Во всяком случае, узнать правительственному ревизору истину было трудно. Тем не менее он кое-что узнал, но не от чиновников, а от самого населения. Население жаловалось, подавало челобитные. В губернскую канцелярию, „темнившую“ дела, челобитные сыпались градом, их скрывать было не возможно даже губернским чиновникам, и правительственный ревизор узнал, что на комиссара, майо-

---

[1]) Арх. б. М. Ю. Дело быв. прав. сената, № частн. 936, общ. 3419.

ра Бутлерова, командовавшего на казанской дороге, было подано в губернскую канцелярию „с двадцать челобитен“. Этот комиссар очень обижал татарское население: он брал взятки и деньгами, и овощами, и баранами; он прямо облагал жителей денежным и натуральным оброком в свою пользу— „по 16 коп. с души и по овце с жительства в год“. Но и этим не ограничился и установил даже барщину на татар, числившихся государственными крестьянами: „наряжал их в свою партикулярную работу в летнее рабочее время без всякой платы“. Так, начальник казанской дороги установлял своей властью фактическое крепостное состояние для государственных крестьян разных деревень, находившихся в управляемом им районе. Дальше уже некуда было идти в произволе местной администрации, хотя, казалось, путь этого произвола был бесконечный; ибо, как татарин Кутла Тахтаров, один из главных челобитчиков, так и прочие „никакого удовольствия не получили“.

Это свидетельствовал правительственный ревизор, сообщивший верховной власти, что на двадцать челобитных „и поныне правосудного рассмотрения и решения почти через восемь лет не последовало, и бедные иноверцы яко безгласный народ не удовольствованы“ [1]). Не трудно понять, каково было настроение этих „бедных иноверцев“, терявших надежду дождаться от государственной власти удовлетворения по их жалобам на вопиющие злоупотребления ее агентов-чиновников, управлявших на местах. Невольно у этого „безгласного народа“ навертывалась мысль, что, должно быть, царица-то мирволит только тем, кто поставлен над

---

[1]) Там же.

народом, что это господская царица, а царь для народа сбыт ею и господами. Словом, невольно народная мысль ждала не ревизора от наличного правительства, в котором она изверилась, а какого-то нового пришельца, который бы вступился за народ деятельно, так, чтобы крестьянское население было „удовольствовано". Такой пришлец в виде чисто народного, мужицкого царя, вскоре и явился, заявив, что им „присмотрена на Руси многая неправда". И он решил „наказывать и смерти предать" судей-мздоимцев,—„которые дела судят неправедно и разоряют народ".

Население татарских деревень бывшего Казанского ханства разорялось чиновниками; те же чиновники, не исключая и самых высших, налегали и на жителей городов и прежде всего—главного города Среднего Поволжья—Казани. Так напр., та же свечинская ревизия выяснила, что казанский губернатор князь Тенишев не брезгал брать с татар, чем попало, лишь бы предмет был ценный: „взял" он „во взятку", доносит Свечин, „пакал серебряный вызолоченный с крышкою ценою в тридцать два рубля" [1]). Все это не располагало татар почитать предержащую власть и защищать ее, сколько сил хватит, от посягновения на нее новой власти. Остальное инородческое население считало себя по отношению к наличному петербургскому правительству не менее чужим, чем татарское население. То обстоятельство, что чуваши, черемисы, мордва в большинстве числились в православии, тогда как громадное большинство татар было стойко в мусульманстве и не поддавалось никаким миссионерским приманкам и устрашениям, не играло большой роли; ибо настроение создава-

[1]) Там же.

лось материальными условиями жизни, а в этом отношении все население одинаково разорялось правящими классами и служителями государственной организации, включавшей в себя и так называемую церковь. Если русское население угнеталось, разорялось преимущественно помещиком, татарское—преимущественно чиновником, то православное инородческое—угнеталось и разорялось попом, недурно разыгрывавшем роль и помещика и чиновника в оффициально православном инородческом селе. Когда впоследствии Пугачев со своей толпой проходил мордовскими и черемисскими деревнями, то, по свидетельству одного из пугачевских полковников, „жители более всего жаловались на духовных лиц за их поборы и пр". (Но на громадных пространствах между Волгой и Уралом, кроме оседлых инородцев, вроде упомянутых и других, обитали кочевники: башкиры, киргизы, калмыки. Они тоже притеснялись, и в широкой степи, их стихии, им становилось тесно: сюда шла промышленная колонизация, отбиравшая у кочевников лучшие земли. Заводская колонизация шла в приуральский край вооруженной, ибо главными предпринимателями выступали наиболее влиятельные люди из правящего класса, в роде Шуваловых, к которым присосеживались богатеи из купечества, в роде Твердышева; правительство встало на страже этой колонизации, и вполне понятен государственный флаг, который она выкинула, понятна и та линия „крепостей", которая глубоко врезалась в земли кочевников и отгородила от них лучшие, отнятые у туземцев, степные и лесные места. Правда „крепости" не оправдывали своего громкого названия, они были немудры, представляя просто русские деревни, окруженные тыном, валом

и рвом; это—невзрачные степные „крепостцы“, вроде сибирских острожков; но для отражения нападений кочевников достаточны были и такие заграждения с их небольшими гарнизонами, составленными из старых солдат, и поставленными под начальство опытных боевых офицеров. Преимущество этих гарнизонов перед кочевниками заключалось, главным образом, в огнестрельном оружии и даже в пушках, которыми обладали первые и необладали последние, действовавшие в массах, по старинке,—холодным оружием—меткой стрельбой из лука и кривой азиатской саблей. Сверх того, заводы, возникавшие в Уфимско-Оренбургском крае, кроме государственной охраны, имели и свою собственную в виде особых заводских гарнизонов, вооруженных орудиями. Таким образом положение кочевников делалось безвыходным, отчаянным. Несмотря на это, самые энергичные и свободолюбивые из них, башкиры, пытались несколько раз в течение XVIII века отбиться от русского господства в своей стране, вытряхнуть из нее все заводы с пришлым, чужим населением и со всеми их охранителями,—казенными и частными. Борьба была упорная, кровавая, с великим ожесточением с обеих сторон, при чем одна хотела отстоять свои исконные земли, а другая—внедрявшуюся здесь заводскую колонизацию и широкие, как эти неоглядные степные пространства, перспективы эксплоатации и наживы на новых, благодатных местах. Правительство, дворянство и купечество представляло эту вторую сторону, она действовала особенно беспощадно, подавляя башкирские восстания: предписывалось „оных противников на страх другим без всякой пощады предавать смерти и жилища их разорить до основания“.

И это исполнялось в широчайших размерах. Башкирский народ уменьшался количественно, но истребляемый, уродуемый (не только вырезывали людей, но и языки и уши у оставленных живыми, отрубали у них руки, вырывали ноздри), опозориваемый, долго оставался стоек и, при первом случае, поднимался вновь. Особенно серьезен и упорен был мятеж Батыршы, с трудом подавленный елизаветинским правительством. Батырша, руководимый казанскими муллами, выкинул мусульманское знамя, но основной причиной движения была не религия, а экономика—потеря земли и имущества, попавших в ненасытную пасть заводским колонизаторам, которые к тому же не пощадили и башкирских женщин. „Злой вор, заводский командир", жаловались башкиры Батырше, „племя наше покорил и разграбил, жен и детей наших перед нашими глазами блудил... Не стерпев таких мучительств, наши убили командира и бежали". После подавления мятежа, башкирам, не желавшим мириться с этими „мучительствами", ничего не оставалось, как совсем оставить свои земли, захватываемые алчными пришельцами, и откочевать за Урал. Это и сделали наконец 50.000 башкир, вначале Екатерининского царствования ушедших к киргизам, а перед самым пугачевским восстанием туда же, за Урал, ушло 169 тыс. калмыков. Трудно стало дышать в степи кочевникам, ибо торговый и зарождавшийся промышленный капитал делал здесь слишком быстрые завоевания и готовился совсем загнать кочевников в западню; видя и чувствуя надвигавшуюся кабалу, они как и русские крестьяне, как и инородцы Поволжья в XVII стол.,

---

[1]) Там же.

побежали, но побежали не в одиночку, а массами, сообразно с условиями своего кочевого быта. Однако, большая часть башкирского народа не покидала своих родных мест, а попрежнему таила в себе ненависть к насильникам и инстинктивно готовилась к новой борьбе за свою землю и свободу. Отсюда ясно, почему башкиры сразу поддержали предприятие Пугачева, обещавшего им то и другое, полное выселение русских из их страны; ясно, почему разбитый Пугачев нашел в Башкирии себе приют, там окреп, и вновь ринулся на достижение цели восстания.

Яицкие казаки определили цели восстания, ибо они выработали самую его программу. Прежде всего они, разумеется, хлопотали о самих себе, но они вместе с показным вождем восстания, понимали, что оно может пойти успешно, если будут приняты во внимание интересы тех, кому трудно жилось в Российской империи, т. е. интересы прежде всего крепостного крестьянства и инородческого населения, а потом и вообще всех угнетенных, к которым принадлежало все простонародье тогдашних городов. Собственно интересы яицких казаков сводились к их стремлению освободиться от экономической и военной опеки над Яиком петербургского правительства. Эта опека была выгодна незначительному меньшинству яицкого казачества, так называемой „старшинской стороне“, казацким мироедам, умевшим ладить с петербургскими властями и очень хорошо наживаться на откупе рыбных промыслов; благосостояние заставляло этих казаков мириться и с военной опекой, тянувшей казаков в „регулярство“, но все это было невыгодно и претило большинству яицких казаков, „войсковой стороне“, державшейся за обычное

казацкое право и за прежние экономические и административные порядки на Яике. В классовой борьбе между этими двумя социальными группами яицкого казачества, благодаря союзу казацкой буржуазии с петербургским правительством, казацкая демократия была побеждена, жестоко наказана, раскассирована, частью пустилась по старинке в бега, а казацкое самоуправление на Яике было уничтожено, будучи заменено управлением комендантской канцелярии. Тут даже и те яицкие казаки, которые раньше были достаточно пассивны, представляя в политическом смысле болото, сделались активны и готовы были при подходящем случае померяться с Петербургом, и „тряхнуть Москвой", как говорили они по старой разинской повадке, именуя российскую державу „Москвой". Преследование в этой державе старой веры диктовало казацкой демократии, приверженной к расколу, и религиозную цель восстания, основной целью которого была экономическая и политическая автономия яицкого войска. Угнетенное положение остального народа приводило казацких заговорщиков к мысли обещать всем и каждому землю, всякие угодья, свободную от всяких податей и повинностей спокойную жизнь. И кто только на Руси не готов был откликнуться на такую агитацию!

В нищей России все были готовы, кроме помещиков, богатых купцов и самого высшего и хорошо обеспеченного духовенства. Городским чернорабочим и ремесленникам милы были эти обещания и призывы, но к ним оказались восприимчивы и многие другие элементы. Мелкий и даже средний торговец, особенно тот, который чтил „старую веру", не прочь был принять ее защитника главным образом потому, что он избавлял не только

от гонения на сторонников старой веры, но и от всяких пошлин на торговлю; церковники—попы, дьяконы и дьячки, недовольные своим тяжелым материальным положением, надеялись поправить его при помощи восстания, они и вообще не желали идти против новой власти, раз на местах она брала верх над старой, к каковому признанию иногда присоединялось или делало вид, что присоединяется, и черное духовенство, тоже не способное идти против общего течения. Но главные массы, на которые расчитывали организаторы восстания, это иноплеменники Волжско-Уральского края угнетенные, опозоренные и раззоренные заводской колонизацией, заводские рабочие, изнемогавшие под тяжким бременем заводской работы, битые на ней нещадно и сажаемые в кандалах в страшные заводские тюрьмы, приписанные к заводам крестьяне, изнемогающие, сверх сказанного, уже на одних мучительных и продолжительных периодических переходах из своих деревень на заводы и обратно при 500—700 верстных расстояниях между теми и другими, и наконец вся крепостная крестьянская масса, кровь и тело которой пили и ели помещики, по собственному признанию одного из них в гневную минуту. В Волжско-Уральском крае положение крепостных было тяжелее, чем в центральных местах государства, ибо на далеком степном просторе, как свидетельствуют современники из помещичьей же братии, напр. лойяльнейший Аксаков в своих известных воспоминаниях, барский произвол развертывался во всю ширь этого простора: здесь нередко секли крестьян так, что их приходилось после этой операции сейчас же завертывать в только—что содранные бараньи шкуры; значит, буквально сдирали с человека шкуру и, чтобы он

не умер тотчас же, давали ему чужую, тоже содранную, хотя и не в наказание. Все эти люди и целые массы людей были доведены до крайности, особенно, опять таки помещичьи крестьяне, ибо, „ведь нет дома“, сообщает сама помещичья царица, „в котором не было бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поместила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без преступления“. Императрица была права. И „преступление“ началось: оно было классовым ответом на преступление другого высшего, правящего класса.

IV.

Оренбургский период движения или восстания яицких казаков и кочевников.

В толпах Пугачева с самого начала и до конца находился всякий сброд—русские и нерусские, казаки и не казаки, беглые преступники, крестьяне, чернорабочие и вообще всякая „чернь“, далее—церковники и даже в небольшом числе изменившие Екатерине офицеры, значит-дворяне и проч., но в каждый из периодов, на которые распадается история движения, преобладающее значение имели не все перечисленные элементы, а только некоторые, коими и должен быть охарактеризован тот или другой период восстания. И мы увидим, что таких элементов, имевших действительно большое значение в мятеже было не так много. Так в первой толпе Пугачева, с которой он поднял знамя восстания, были кроме яицких казаков, калмыки и

татары, но в очень небольшом числе; сверх того, Пугачев, разослав своих эмиссаров по деревням к крестьянам, через одного из своих помощников татарина Идорку вошел в сношения с киргиз-кайсаками. Эти последние вскоре явились из-за Яика в пределы Оренбургской губернии и начали опустошать своими набегами ее южную часть.

К предприятию Пугачева присоединились башкиры. После яицких казаков, они с такими своими руководителями, как их старшина Еман Серай, Канзя Арсланов, Юлай, Салават, под Оренбургом представляли главную силу пугачевского сборища. Особенно замечателен из этих башкирских вождей Салават сын Юлая. Он был не только военным, но и духовным вождем своего народа. Это интересная личность из татаро-башкирского мира. Он был поэтом и импровизатором своих песен. Он их пел, как степная птица, но он также был страстным борцом за свободу родной степной жизни, всех своих соотечественников он звал к упорной борьбе против екатерининского правительства. То, что давал Пугачев Башкирии, заставляло Салавата крепко примкнуть к поднявшемуся движению за императора Петра Федоровича. Вскоре после начала восстания в Башкирию был послан указ, которым Пугачев жаловал башкирский народ „землями, водами, лесами, жительствами, травами, реками, хлебом, пашнями, денежным жалованьем, свинцом и порохом.“ Впоследствии Пугачев, допуская уничтожение русского владычества в Башкирии, обещал отдать всю Башкирию в исключительное владение башкирам с выводом отсюда всех русских поселенцев. Понятно, почему башкиры массами присоединились к Пугачеву: он знал, какие струны башкирского сердца задеть, чтобы

в конце концов, поднять всю Башкирию. Близкие к башкирам татары выделили из своей среды энергичных помощников для Пугачева в его сношении с турецко-татарскими народами Приуралья и вообще в деле организации восстания в первое время. Таков, напр., татарин Идорка, по инициативе которого его сыном, яицким казаком, Болтаем было написано агитационное письмо к киргиз-кайсацкому хану Нур-Али; таков татарин Муса Алиев, командовавший каргалинскими татарами, таков татарин Абдул, командовавший сборным отрядом. Это незаменимые помощники Пугачева—не обратись он к ним, едва-ли бы он смог привлечь к мятежу кочевников в том количестве, в каком ему это удалось; но все-таки главные нити движения остались в руках яицких коноводов, принявших Пугачева в качестве обретшегося „государя"; это яицкие кззаки Чика-Зарубин, Максим Шигаев, Андрей Овчинников, Тимофей Падуров, Дмитрий Почиталин, Лысов, Чумаков, Иван Творогов, Афанасий Перфильев и др. Некоторые из них, если не все, знали о самозванстве Пугачева, но тем не менее они его приняли, как удобное орудие восстания, как средство поднять черную Русь, да и другие угнетенные народы на похитительницу власти, барскую царицу, за об'явившагося законного царя, пожелавшего дать все тем, у кого все было отнято, царя угнетенных и обездоленных, который знал, „что вся чернь его радостно и везде примет, лишь только услышит". К числу ближайших помощников Пугачева следует отнести также бывшего крестьянина, беглого, с вырванными ноздрями, каторжника Хлопушу, который умело агитировал на заводах и доставлял с них Пугачеву не только толпы поднявшихся рабочих (в том числе и „год-

ных к употреблению с лопатками, кирками и другими горными инструментами" (но и пушки, ядра и порох, сработанные на заводах специально для пугачевской армии. Хлопуша же привел к Пугачеву вместе с заводскими рабочими и толпу башкир. Все это черты, которыми характеризуется первый период восстания. Присутствие в стане Пугачева заводских рабочих и беглых крестьян указывало, в каком направлении будет дальше развиваться мятеж, присутствие означенных и иных элементов, напр. 500 черемисс, не изменило первоначального казацкого и кочевнического характера пугачевщины. На первых порах восстание было именно таковым. Окрепло оно не сразу, но все-таки весьма быстро.

Мы знаем, что 17-го сентября, при первой встрече Пугачева с правительственными войсками, у него было всего 140 человек казаков, татар и калмыков. Но 18-го сентября под Яицким городком толпа его значительно увеличилась перебежавшими на его сторону казаками; впоследствии, в помощь прибыли башкиры и затмили собой другие инородческие отряды.

Встреченный под Яицким городком пушечными выстрелами, Пугачев отошел от Яицкого городка, сказав своей толпе: „Что, други мои, вас терять-напрасно; пойдем туда, где нас примут". Казаки посоветовали ему идти по линии „до Илецкой станицы". Толпа и двинулась в указанном направлении. По пути к Илецкому городку Пугачев со встречных форпостов „забирал" с собою всех людей, „кого силою, а кого охотою"; забирал также пушки и снаряды. Получив „указ" от Пугачева, Илецкие казаки приняли его, как „государя", с хлебом и солью. Самозванец прошел прямо в цер-

ковь и велел там „петь молебен и упоминать на екетиньях государя Петра Федоровича, а государыню исключить". При этом распространился о своих планах, как относительно государыни, так и своей будущей политики по отношению к поддерживающему ее дворянству.

Когда, говорил он, „бог донесет меня в Петербург, то зашлю ее (Екатерину) в монастырь, пускай за грехи свои богу молится. А у бояр села и деревни отберу, а буду жаловать их деньгами. А которыми лишен престола, тех без всякой пощады перевешаю." Вспоминал он и о Павле Петровиче.

— Сын мой человек еще молодой, так он меня и незнает",—сказал Пугачев, и заплакал; потом, подняв глаза на иконы, воскликнул;—„Дай бог, чтоб я мог дойти до Петербурга и сына своего увидить здорового"!..

Атаман Илецкого городка, по наговору его подчиненных, был повешен, дом его разграблен, а малолетний сын взят был самим Пугачевым вместе с атамановскими деньгами, жалованным ковшем и хорошим платьем. Увеличив свою казну тремя стами рублями, а толпу 300-ми илецкими казаками, Пугачев через два дня, которые он провел в Илецком городке, двинулся дальше. Он теперь шел к „Рассыпной крепости", предварительно послав туда тоже „указ" с требованием присоединиться к нему и с обещанием пожаловать за это „вечной вольностью, реками, морями, всеми выгодами, жалованьем, провиантом, порохом, свинцом, чинами и честью".

В „Разсыпной" казаки тоже перешли на сторону Пугачева, и крепость была взята им без труда. Комендант Целовский с женой, порутчик Талбаев

и священник, очевидно, не поторопившийся выйти к самозванцу с крестом и иконами, были повешены. После этой крепости та же судьба постигла и „Нижнеозерную“, где были казнены комендант ее маиор Харлов и другие офицеры. В „Татищевой“, куда Пугачев подошел после занятия Нижнеозерной, к нему передался бывший депутат Большой екатерининской Комиссии казак Падуров с товарищами, и это обстоятельство содействовало взятию Татищевой, но под этой крепостью Пугачев встретил сильное сопротивление, и первый приступ его был отбит пушечной пальбой. Приказав зажечь стоги сена вокруг крепости, Пугачев запалил и ее самое, защитники дрогнули, пугачевцы ворвались в крепость, и „множество людей покололи“. В Татищевой Пугачеву досталась богатая добыча,—не только несколько пушек, но и „немалое число“, как сообщает Рычков, „полковой, кабацких и соляных сборов денежной казны, многое число военной аммуниции, провианта, сала и вина“. В числе добычи Пугачева оказалась и вдова погибшего Харлова, отосланная им перед приходом Пугачева в место более безопасное—в „Татищеву“, к ее родителям, и попавшая здесь в наложницы к самозванцу; родители ее, комендант Елагин с женой, а также бригадир Билов, не согласившийся на сражение с инсургентами в открытом поле, погибли во время резни в крепости. Взяв после Татищевой еще несколько крепостей, Пугачев приступил к Оренбургу, главному административному центру этого степного казацкаго края. Оренбург был окружен инсургентами, и пути к нему были пресечены. Положение получилось весьма затруднительное, тем более, что оренбургский губернатор, генерал Рейнсдорп, не озаботился во время перевезти из

близь лежавших малых крепостей в губернский город с'естные и боевые припасы. Тем не менее, несмотря на целый ряд и других ошибок и медлительность этого администратора, общая линия борьбы с мятежом была выработана им правильно: он решился обороняться, а не наступать. Недостаточность хороших военных сил и, особенно, их социальная ненадежность, вполне выяснившаяся во время успешного движения Пугачева к Оренбургу, невольно заставили Рейнсдорпа, а с ним остальную губернскую администрацию возложить единственную надежду на стены и другие укрепления этого города. Действительно, конная пугачевская толпа, достигавшая к моменту первого подступа к Оренбургу всего 2.360 человек, с небольшим сравнительно количеством пушек (до 20), была бессильна против городской более значительной артиллерии, плохо ли, хорошо ли действовавшей из-за городских прикрытий. Началась осада Оренбурга Пугачевым, задержавшая его здесь надолго. Вполне естественно было для яицких казаков и приуральских кочевников желать во чтобы то ни стало покончить с Оренбургом, ибо в их глазах здесь было сосредоточено все то зло, от которого они страдали; сюда их таскали в тюрьмы; отсюда их ссылали в отдаленные места; отсюда шло на них всяческое угнетение и лишение свободы пользоваться дарами природы того края, который искони они считали своим, жить и управляться так, как они искони привыкли. Оренбург, словом, и для яицких казаков, и для инородцев, нередко становившихся яицкими казаками, был синонимом насилия, и они его ожесточенно ненавидели, а потому хотели во чтобы то ни стало взять. Несколько раз Пугачев приступал к Оренбургу с этой целью (12 и 22 октя-

бря, 2 и 3 ноября), но удачи не имел. Тогда он, основавшись в 7 верстах от Оренбурга в слободе Берде, решил взять его измором; но и это не удалось, хотя, казалось, многое благоприятствовало тому, особенно в первое время. В самом деле, силы Пугачева значительно увеличились приводом к нему Хлопушей башкир и заводских рабочих, а также благодаря тому, что к нему в Берду стекалось все недовольное и раздраженное.

Последнему содействовала и агитация, которую Пугачев широко вел из Берды. В числе рассылаемых им агитаторов были башкиры, что еще более подчеркивает значение их в пугачевском стане. Башкиры очень хорошо поняли основной смысл предпринятой Пугачевым борьбы—истребление—„господ". „Ежели кто помещика убьет до смерти и дом его разорит", говорил эмиссар—башкирец крестьянам,—„тому дано будет жалованье 100 р., а кто 10 дворянских домов разорит, тому 1.000 р. и чин генеральский".

„Разорять помещичьи дома", это лозунг, который был брошен яицкими казаками в крестьянские массы с самого начала движения. Пугачев показал пример осуществления этого лозунга. Пируя под Оренбургом в барских хоромах губернаторской усадьбы, он приказал разгромить богатую обстановку дома и в пояснение этого распоряжения сказал:—„Вот как славно живут мои губернаторы, а на что им такие хоромы, когда я сам, как видите, живу просто".

Это было понятно сопровождавшей Пугачева толпе, классовая ненависть которой невыносила преимуществ господского быта и вдохновляла ее стремиться к их уничтожению. А отсюда—шаг к уничтожению и самого класса, обладавшего этими

преимуществами—„благородного“ дворянства. Пугачев был лишь ярким выразителем этих, приглушаемых насилием барского государства, чувств и затаенных желаний. Но он был также выразителем чаяний и раскольничьего мира, а потому не церемонился с православными храмами, опорными точками и еретического новшества в вероисповедывании и государственного насилия над духовною жизнью народа. Пугачев предоставлял раскольникам, бывшим в его войске „кержакам“ (с „Керженца“), полную возможность ограблять церкви, но те этим не ограничились, предались и поруганию ненавистной им государственной веры: в'езжали в храмы прямо на лошадях, стреляли в образа, в уста христа изображенного распятым, вбивали гвоздь, иконы, писанные на холсте, сдирали и превращали их в подседельники или в лошадиные потники, находящиеся под седлами. В то время, когда повсюду в северо-западной части Оренбургской губернии, где уже в конце ноября 1773 года свирепствовал мятеж, производились эти и подобные действия,—Берда все более и более наполнялась приставшими к движению,—и здесь в промежутки между перестрелками с Оренбургом, между стрельбой в цель, скачками взапуски для развлечения и казнями попавших в руки пугачевцев их классовых врагов, шли попойки и развертывались широко половые излишества, словом, жили весело.

Тоже самое происходило и под Уфой, в резиденции второго Пугачева, еще более чем первый решительного и сметливого—Чики-Зарубина, принявшего звание и имя гр. Чернышева, председателя военной коллегии. Распоряжаясь из села Чесноковки, куда для утехи этого самозванца и его товарищей свозились из окрестностей хоро-

шенькие женщины и девушки, Чика Зарубин начал приобретать господство в самом сердце Башкирии, но мятеж шагал уже дальше—в северный заводской район и в Западную Сибирь. Яицкие казаки и башкиры, в качестве царских полковников, рассыпались повсюду по обширному краю и действовали, не давая, как и Чика-Зарубин, никому отчета, самостоятельно, хотя и от имени Петра III. Восстание крепло, все более и более раздвигая свои пределы. Поэтому неудивительно, что генерал Кар, присланный петербургским правительством для подавления бунта и сначала надеявшийся на быстрый успех, боявшийся лишь того, чтобы Пугачев как-нибудь не ушел от него, увидал на месте, что восстание серьезно, что военные силы, предоставленные ему, совсем недостаточны, и потерпел полную неудачу...

Авангард отступавшего перед пугачевскими толпами Кара, именно отряд полковника Чернышева, введенного в заблуждение тайными сторонниками Пугачева, попал в плен к самозванцу невдалеке от Оренбурга, куда этот отряд намеревался проскользнуть; его начальник, 32 офицера и некоторые другие, захваченные вместе с отрядом, лица были повешены в Берде. Отряд, состоявший из нескольких сот гарнизонных солдат, сотни казаков и 500 калмыков при 15 пушках, тоже не сопротивлялся и, сдавшись, был зачислен в войска Пугачева. Сопротивление оказали лишь офицеры, „собравшись в одну кучу“, по свидетельству самого Пугачева, и „стреляя из ружей“. Они за это и заплатили жизнью; лишь один из них спасся и пробрался в Оренбург.

Само собой понятно, что после такого успеха Пугачева, инсургенты приобрели еще более уве-

ренности в себе и сделались еще более настойчивы в достижении своей ближайшей цели—взятия Оренбурга. Но это однако не удавалось, несмотря на то, что силы Пугачева с $2^1/_2$ тыс. увеличились в 5 раз, если не более, колеблясь между 10,000 и 15,000 человек. Помехой этому явилось отчасти то же обстоятельство, которое вредило и обороне Оренбурга, вообще делу борьбы правительства с востанием. Рано, с октября, наступившая зима с ее частыми в степи буранами замедляла военные операции под Оренбургом; если при вылазках правительственная артиллерия тонула в глубоких снегах и должна была, в конце концов, скорее ретироваться в город, то эти же снега мешали действиям и пугачевского конного войска. Правда, под Оренбургом из взятых в плен солдат Пугачев формировал и пехоту, но эта часть его войска имела второстепенное значение; к тому же не менее страдала от сильной стужи, чем и остальные пугачевцы, большинство которых принуждены были жить в землянках. Сверх того, осада Оренбурга стала осложняться еще осадой Яицкой крепости, куда с января начал отлучаться Пугачев; вместо концентрации сил и действия единым фронтом против ближайшей главной цели, получалось разделение сил и несколько фронтов (Оренбургский, Уфимский, Яицкий), взаимно ослаблявших друг друга. Неудевительно, что в результате главная цель—взятие Оренбурга, осталась недостигнутой, а вместе с тем пришлось спасовать и на других фронтах. Оренбург изнемогал от голода, вследствие осады и известной нам непредусмотрительности губернатора, но этот город также показал, что его нельзя ставить в ряд с взятыми Пугачевым крепостями—деревнями: это был именно город,

имевший за своими стенами регулярное, хорошо вооруженное артиллерией, войско и достаточно такого населения, которому было что терять, населения служилого и торгово-промышленного, которому ненавистны были уравнительные лозунги Пугачева. Классовым характером Оренбурга в значительной мере об'ясняется его стойкость в отсиживании от самозванца и его разношерстной „армии". И Оренбург отсиделся. Пугачев целую зиму и часть весны потерал даром. Задержка под Оренбургом и под Яиком оказалась крупной и непоправимой стратегической и тактической ошибкой, благодаря которой организаторы востания сами, как бы, локализировали начатую ими революцию, сразу превращали ее в чисто местное движение, именно в оренбургские „безпорядки", каковыми стремились представить все дело восстания иностранным правительствам сама Екатерина и ее агенты. Но по существу, а не по видимости это дело было очень серьезным, и петербургское правительство, как нельзя лучше, воспользовалось оренбургско-яицким промедлением Пугачева. В этот сравнительно продолжительный период, преимущественно бердинского сиденья, петербургское правительство успело оправиться и собрать надлежащие силы для продолжения борьбы с восстанием, поставив их под главное руководство человека, испытанного в исполнении прежних поручений более или менее деликатного свойства. Это был А. И. Бибиков, недавний председатель Комиссии для составления Нового Уложения, в начале царствования Екатерины успешно закончивший усмирение заводских крестьян в Приуралье. Он и теперь быстро наладил дело борьбы с бунтом. Неудачи пугачевцев начались, как раз, в завод-

ском районе—Кунгуре и Екатеринбурге, где движение только что начиналось и еще далеко не окрепло. Там командовал тоже один из энергичнейших военноначальников самозванца беглый солдат Белобородов. Теснимый правительственными отрядами, он бежал из того края, чтобы соединиться с Пугачевым. А тот в это время сам попал в крайне затруднительное положение. 25 марта он потерпел страшное поражение от кн. Голицына под Татищевой, где самозванец засел, явившись из Бедры, приблизительно с 8000 пехоты и конницы и где он был стиснут правительственными войсками. Перебито инсургентов было множество, 3000 человек „разного сброда“ и 290 яицких казаков попало в плен. Сам Пугачев едва спасся, ускакав с четырьмя казаками в Берду. Здесь он собрал оставшиеся у него силы и оставил навсегда оренбургскую свою резиденцию—Бердскую слободу. Правда, он посылал еще раз туда своего сподвижника Ивана Творогова—захватить там провиант, в котором повстанцы, метаясь между Сакмарским городком и Каргалой, начали нуждаться, но сам уже более никогда не видал бывшей своей столицы. Под Каргалой, где у Пугачева было до 3000 человек, он был разбит на голову, и у него осталось не более 500 человек, из коих по сотне приходилось на казаков и заводских мужиков, а до 300 человек на башкир и татар; с этими остатками, имея около себя 4 лошади для смены, Пугачев бежал „не кормя во всю прыть до Тимашевой слободы“, а отсюда поскакал в Тагил, где ночевал. В Тагиле было не безопасно, ибо мятеж, перешагнувший за Урал, в Сибирь, подавлялся и в этих местах; поэтому Пугачев из Тагила ударился в Башкирию, где на некоторое время и

скрылся. Одновременно с ликвидацией Берды была ликвидирована и Чесноковка; Чика-Зарубин был разгромлен, бежал в Табынск, но самозванному гр. Чернышеву посчастливилось менее, чем самозванному Петру III: здесь Чика-Зарубин был схвачен. При двух ликвидациях — оренбургского и уфимского фронтов восстания,—Пугачев лишился почти всех главнейших своих помощников и руководителей: кроме Чики-Зарубина, в плен попали Максим Шигаев, Иван Почиталин (секретарь Пугачева), Тимофей Падуров. Тяжкие неудачи постигли инсургентов и в западной Сибири. Казалось, мятеж был подавлен окончательно. Тем более, можно было так думать, что и яицкая крепость вскоре, меньше чем через месяц после ликвидации оренбургского и уфимского фронтов, была освобождена от осады генерал-майором Мансуровым (16 апреля), при чем один из руководителей ее казак Дехтеров был взят в плен, а двое других пугачевских вождей,—казаки Овчинников и Перфильев, как раньше их названный „царь", бежали в Башкирскую степь. Этому успеху правительственных войск не помешала даже смерть Бибикова (9 апреля): дело планомерной борьбы с „бунтом" было уже налажено и шло, как бы, само собой к окончательной развязке. Но так только казалось. На самом деле, наиболее опасное для правительства Екатерины и для всего правящего класса было еще впереди. Это было затишье перед новой бурей, еще более сильной. Действительно, в Башкирии Пугачев оправился. Башкиры оказали ему существенную поддержку.

V.

Прикамский период восстания или заводская революция.

Организовать новое восстание башкир много помог Пугачеву сметливый и умелый Белобородов, приобретший „доверие“ самозванца „своей трезвостью, кротким нравом“. Отброшенный от Екатеринбурга, он быстро собрал новую толпу и в разные места, особенно в Кунгурский уезд, разослал с эмиссарами несколько башкирских старшин и мещеряка Бихтиара Каныкаева для вербовки новых защитников самозванцу; всем таковым было велено тотчас-же итти к нему, Белобородову, на Соткинский завод, „ибо“, говорилось в белобородовском приказе, „и батюшка наш великий государь Петр Федорович изволит следовать в здешние края“. „Батюшка“ и сам приказал башкирам выступить в поход по одному человеку с дома, а если в доме 3 человека, то двум. Башкиры поднялись. Они опять начали с грабежа русских селений и заводов. Екатерининские власти увещевали башкир и угрожали им жестокими наказаниями, даже посылали к ним башкирца с отрезанными носом, ушами и пальцами на правой руке—„для воздержания товарищей“, но „товарищи“—башкиры не думали о том, чтобы покориться, и новым своим движением дали опору для снова предпринятой самозванцем открытой борьбы. Белобородов соединился с Пугачевым в Магнитной, куда прибыли к нему также Овчинников и Перфильев с яицкими казаками, как известно, бежавшие из под Яика в Башкирию. Но кроме башкирского народа и его уцелевших сообщников, Пу-

гачев мог расчитывать на заводских рабочих и на крестьянское население, приписанное для работ к заводам. Пугачев и появился на Белореческом заводе, как бы вынырнув из степного моря. Отсюда он бросился по верхне-Яицкой линии и взял Магнитную крепость. Потом он потерпел снова несколько поражений от правительственных войск, особенно от Михельсона, но снова оправлялся, ибо его казацко-башкирская толпа не только не потеряла своего прежнего свойства—увеличиваться по мере своего движения,—но обнаруживала его еще в большей степени, чем раньше. Как и сообщал башкирам Белобородов, Пугачев действительно явился в здешний заводский прикамский край,—и в его толпу начали вливаться широкими волнами не только башкиры, но и заводские рабочие и ближайшие из приписанных к заводам крестьяне. Заводские рабочие, уже раньше вступавшие в движение, теперь восстали все поголовно, и эта заводская революция существенно подкрепила казацко-башкирскую революцию. Приставал к пугачевской толпе по прежнему всякий „сброд"—разные инородцы—татары, вотяки, также беглые помещичьи крестьяне, беглые преступники и т. д.; но главной силой, которая существенно теперь подкрепляет восстание, становятся заводские рабочие и крестьяне. Заводский гнет и здесь, как и в Башкирии, сделал свое дело: вызвал единодушный взрыв рабочего люда, готового на все, лишь бы освободиться от прежних хозяев, будь они частные предприниматели или екатерининские чиновники. Заводская кабала душила. Переходя на сторону новой, хотя бы и царской (это было все равно), но освобождающей власти (это было главное), рабочие захватывали конторские книги, стаскивали их в кучу и зажигали, ликуя и крича в

радостном экстазе вольных в этот захватывающий момент людей:—„горите наши долги“!. Начинался буйный разгул, хотя новое начальство, в интересах боевой годности поднимавшихся, принимало свои меры против поголовного пьянства. Так Пугачевский полковник Белобородов однажды приказал выпустить вино из бочек, но это не остановило пьянства: „народ“, сообщает другой пугачевский полковник (Верхаланцев), „бросился на образовавшиеся лужи и с жадностью пил из грязных луж; пьяные бушевали по улицам“.

Замечается едва ли не большая ожесточенность восставших, чем в первый период мятежа. Рабочее население, действуя рука об руку с башкирами, не признавало ни частной, ни государственной собственности. Пугачев сам, встречая сопротивление, озлоблялся все более и более и тоже был беспощаден, когда добивался своего. Так, от г. Осы он сначала был „отражен“ (18 июня); 20 июня он повторил приступ, и на другой день город сдался самозванцу, который в него „вошел, все, что надобно, набрал“, показывал он впоследствии, „и пошел опять в стан, а Осу сжег“. Вскоре после этого были заняты Пугачевым заводы Воткинский и Ижевской: они тоже не только были разгромлены, но и сожжены. Опустошено было на том же берегу Камы и еще несколько заводов. В результате всех своих успехов, Пугачев приобрел господство на обоих берегах Камы. У него было до 7 тысяч человек войска, при двенадцати пушках,—и его власть распространилась на обширный район. В Сибирской губернии опять начались волнения, и киргисская баранта опять стала вредить пограничным местам этой губернии. Но сам Пугачев тянулся теперь не на восток, а на запад. В Ижевском заводе он об‘явил поход на Казань.

VI.

Взятие Казани и начало крестьянской революции.

Когда Пугачев беспрепятственно подошел к этой столице бывшего казанского ханства, то прежде всего он послал к казанскому губернатору указ, „чтобы без баталии сдался", как впоследствии показывал сам Пугачев на допросе. Но „указ" или манифест в дворянской Казани успеха не имел. Овчинников, возивший в Казань „манифест", по быстром возвращении оттуда, заявил, что „манифеста" „не слушают, а только бранят". Пришлось вступить здесь в „баталию", да не одну. К моменту прихода к Казани войско Пугачева значительно увеличилось, так что самозванец разделил его на 4 части. Город плохо был подготовлен к защите и взять его не составило большой трудности. Инсургенты ворвались в него с 2-х сторон через Арское поле под прикрытием возов с сеном и через Суконную Слободу, где лично предводительствовал сам Пугачев. Некоторое сопротивление было оказано лишь у Арского поля гимназическим отрядом, который не выдержал стремительного натиска пугачевцев; за ним без боя отступил и солдатский отряд в 300 человек, под начальством родственника фаворита—П. С. Потемкина. Через Суконную же Пугачев вторгся в город беспрепятственно. Казань, зажженная в 10—12 местах,сразу запылала. Начались всевозможные эксцессы победителей, как это всегда бывает при народных бунтах. „Многочисленная чернь", говорит современник, „составлявшая его (Пугачева) шайку, вдалась в пьянство и грабеж". Полилась кровь. Не

было ни кому пощады из классовых врагов победившей „черни“. „Везде слышим вопль, рыдания и стон, страшные слова:—„коли его“ часто повторяемы были“, под свежим впечатлением пережитых ужасов писал один современник. „Чернь“ расходилась. Рассказывают, что „перед взорами жителей кидали в огонь младенцев, женщин насиловали нередко на смерть“; с сокрушением сообщалось потом об умерщвлении „даже тех, кто искал спасения у самого алтаря“. Казанский купец П. А. Сухоруков, во время пугачевщины 15-ти летний мальчик, бывший очевидцем казанского разгрома, впоследствии рассказывал, что „священники Грузинской церкви ходили в одной рубахе и босиком, чтобы казаки их не узнали“: иначе они были бы умерщвлены. Тюрьма была разбита, большинство арестантов, которых не успела заколоть стража, (что было приказано П. С. Потемкиным), вышло на свободу. Арестанты, разумеется, тоже показали себя. В дыму и пламени пожара, при грохоте пальбы и завывании поднявшейся бури, озверевшие от вина и жажды мщения, не утоляемой вином, люди совершали, с гиканьем и визгом, выдающиеся по своей жестокости „дела“. И это продалжалось „в течение целого дня и до глубокой ночи“. В числе многих погибших из высшего класса был современник Петра I стодесятилетний старец генерал-майор Кудрявцев; он сидел в кресле в храме Покровского девичьего монастыря; когда пугачевцы ворвались туда, он поднялся и закричал на них: „как можете вы, изменники, дерзать против своей государыни, осквернять и расхищать храм божий“? Разумеется, он был тотчас же убит.

Казань выгорела почти вся, уцелели только Суконная и Татарская слободы, да и то не вполне.

Всего, сожжено и разграблено оказалось 2063 дома (уцелело 810 домов). „Унимать пожар“, поясняет современник, „было некому: народ весь выгнан был пугачевскими в поле, между селениями Савиновым и Царицыным“. Но сами „пугачевские“ пока не пошли так далеко; они ночью расположились поближе, на другом поле—на Арском. Сюда, на „поле“, было вывезено 15 бочек вина,—и начался пир. „Самозванец“, говорит бывший пугачевский полковник Верхоланцев, „любил угощать дружину после всякой победы“.

Но победа была в данном случае неполная. Целый день Пугачев обстреливал казанский кремль, где заперлись неудачливые защитники города, но кремль устоял. Тем не менее всю ночь продолжался разгул пугачевской толпы, разбившейся на несколько шаек, при чем самозванец „сам раз'езжал по стану“, стан же его, по взятии и разорении Казани, находился на Арском поле; сюда были пригнаны все захваченные в плен и здесь поставлены на колени, перед пушками. Но здесь же Пугачев, сидя в кресле, принимал татарскую делегацию, поднесшую ему подарки и черезто, может быть, спасшую Татарскую слободу от грабежа и сожжения. „Народ“, поставленный на колени, был прощен, кричал ура, и многие из этой толпы из'явили желание служить „великому государю Петру Федоровичу“, видя, как хорошо он угощает своих вином. Однако похмелье торжествовавших победителей оказалось очень тяжелым. На утро, после бурно проведенной ночи, под Казанью появился Михельсон с небольшим, но уже испытанным в бою конным отрядом в 800 человек. У Пугачева было не менее 12.000 чел., но в громадном большинстве это была плохо вооруженная,

совершенно иррегулярная толпа; лишь казацкая часть пугачевской „армии“ да артиллерия, находившаяся в распоряжении опытных старых солдат и заводских рабочих, могла постоять за себя. Эти части и не ударили в грязь лицом при первом же столкновении с отрядом Михельсона у села Царицына, куда вышел Пугачев из Казани встретить незванного гостя. „Злодеи меня“, сообщал этот последний после боя в своем рапорте от 13 июля (1774 г.)—„и с великим криком и с такою пушечною и ружейною стрельбою картечами встретили, какой я, будучи против разных неприятелей, редко видывал и от сих варваров не ожидал“. Несмотря на это, Пугачев был разбит, потеряв до 800 чел. убитыми и 737 попавшими в плен. Он отступил к самой Казани, на Арское поле, где произошла вторая „баталия“. Пугачев был разбит снова, но опять-таки не счел еще своего дела проигранным; ибо он быстро собирал вокруг себя новые толпы или, как говорит современник, „скоплялся“. К нему сбегались крестьяне из окрестных селений. В Казанской губернии, в которой, как нам известно, и государственным крестьянам жилось плохо (русским и инородцам), Пугачев врезался в густые массы крепостного крестьянства,— и оно стало сейчас же прилипать к нему, как к своему социальному магниту. После второго поражения под Казанью, Пугачев, удалившись за село „Сухую Реку“ быстро, верстах в 15—20 от Казани, собрал около себя новую толпу в 15,000 чел. а, может быть, и более. 15-го июля он померялся с Михельсоном под Казанью в третий раз, но был разбит на голову. До 2000 человек из его войска (преимущественно, башкиры и татары) было убито, и толпа его была окончательно рассеяна, Пу-

гачев бежал с поля битвы лишь с 400 чел. (главным образом казаков). Опасались, что он перейдет на правый берег Волги, а он, как раз, это и сделал, 17 июля переправившись немного пониже Сундыря. В Сундыре Пугачев не был принят, за что это село было им сожжено.

VII.

Поволжский период восстания или крестьянская революция, жакерия.

Но за-то дальше на правом берегу Волги его ждало всеобщее признание. Этого—то и боялись екатерининские власти, ибо видели воочию, что здесь есть почва для признания миром крестьянства, особенно крепостного, и миром поволжского инородческого населения, тоже земледельческого, крестьянского. Пугачев и его сообщники тоже это хорошо понимали. Переправившись через Волгу, пугачевская партия разделилась на две части: одна с Пугачевым во главе пошла на Чебоксары, а другая по чувашским деревням и помещичьим усадьбам. Отдельные агитаторы быстро рассеялись по Казанской и Нижегородской губерниям и всюду, где появлялись, подняли крестьянское население именем батюшки царя Петра Федоровича. Вместе с русскими крестьянами востали и инородцы—чуваши, черемисы и мордва, раздраженные злоупотреблениями чиновничьей администрации, „неправедными судьями“, миссионерами и попами. Громадное агитационное—влияние на крестьянские массы оказал „манифест“, с которым Пугачев обратился к крестьянству по переходе на

правый берег Волги. „Жалуем“,—об'являл самозванный Петр Федорович во „всенародное известие“, „жалуем сим именным указом, с монаршим и отеческим нашим милосердием, всем находящимся прежде в крестьянстве и подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственно нашей короны и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностью и свободою, вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных податей, во владение землями, лесными, сенокосными угодьями, рыбными ловлями, соляными озерами без покупки и без оброку и освобождаем от всех прежде чинимых—от злодеев—дворян, градских мздоимцев и судей—крестьянам и всему народу налагаемых податей“. Эти пожалования, при всей их кажущейся логической несообразности, вполне соответствовали экономической и бытовой жизни крестьянства и всего простого народа в России. В самом деле, с одной стороны предлагалось остаться „рабами короны“, а с другой давалось вечное казацкое, т. е. вольное состояние: это—очевидное противоречие, очевидная логическая несообразность; но те общественные классы, к которым обращались с такими „пожалованиями“—быть рабами и вольными в одно и тоже время—находили это вполне естественным и совместимым. Находясь еще в стадии натурального хозяйства, они не могли себе представить такого общественного устройства, при котором не было бы совсем хозяина, и таким образом они ничего не имели против хозяйского властительства короны, „царя—батюшки“, тем более такого доброго, который об'являл освобождение от всех податей и повинностей и даром наделял всеми землями и угодьями, столь

нужными крестьянину и всему народу; с таким добрым, но далеким одним барином и с рабством по отношению к нему можно помириться, лишь бы не было многих господ, близких к крестьянину и требовательных, а от них то и освобождалось крестьянство, равно как и от всех мздоимцев и судей, становясь вольным,—казачеством; за такую же волю с радостью принималось „рабство" по отношению к царю, к единому барину, обещавшему не брать ничего ни с крестьянства и ни с кого, кроме дворянства, у которого отнималось все, не исключая и жизни. Последнее было ответом на вопрос, что делать с помещиками в мужицком царстве „вольных рабов" батюшки Петра Федоровича. И этот ответ, данный самим вольным казаком, вызвавшимся быть мужицким царем, гласил: истребить! „А как ныне имя наше властно всевышней десницы в России процветает", об'являлось далее, в „манифесте", „того ради повелеваем, сим нашим именным указом: кто из дворян в своих поместьях и вотчинах (находится), оных, противников нашей власти, возмутителей империи и разорителей крестьян, ловить, казнить и вешать и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили со своими крестьянами, по истреблении которых противников и злодеев—дворян, всякий может восчувствовать тишину, спокойную жизнь, кои до века и продолжаться будут". „Манифест" и этой своей частью отвечал самым заветным стремлениям и чувствам крепостного крестьянства, возросшим и воспитавшимся на почве того социально—политического положения, которое падало на долю крестьян, как результат общей экономической эволюции страны, (России). Как „повелевал" манифест Пугачева, кре-

стьяне и раньше сами так поступали—массами в смутное время, так поступали во время Разиновщины, то там, то сям во все времена, не будучи в состоянии выносить гнета владевшего землей и народным трудом класса—избавиться от него, от этого кровопийственного класа „злодеев", как и крестьяне в злую минуту называли помещиков, это—стародавняя мечта крестьянства. „Покойная жизнь" могла наступить, по крестьянскому мировоззрению, лишь после этого. Так „манифест" Пугачева лишь подвел итог материальным и духовным явлениям в сфере взаимных отношений крестьянства и дворянства в затянувшуюся крепостную эпоху. Не мудрено, что он имел громадный успех: он ярко выразил наличное настроение самого крестьянства. Началось то, что дворянский поэт Державин называл „прекровожаждущим рыском" крестьян. Последние сделались первыми.

Крестьяне решили, что пришло их царство: „настает наше время", говорили они, „и бояться нам нечего". Они и не боялись ничего. Боялись дворяне. Эти испугались страшно и, видя, что идет гибель от пылавшего гневом и местью воставшего на них крестьянства, ударились бежать. Бежали в города, в Москву, куда из охваченного бунтом края с'ехалось немало дворян. Многие, застигнутые в расплох, бежали в леса, как бы сменив там прежних беглецов—крестьян, спасавшихся от барского гнева и мести. Но в лесах помещиков нередко настигали крестьяне и умерщвляли; бывало и так, что местопребывание убежавших в лес указывал кто-либо из дворни, считавшийся верным слугой, а потом об'явившийся еще более жестоким по отношению к своему господину, чем те, которые его захватили. Так, напр., это случилось при

побеге в лес помещика Мертваго с семейством. Когда этот помещик был захвачен пугачевцами, то крестьяне его деревни дали о нем хороший отзыв и просили помилованья, но дворовый, раньше выдавший семью Мертваго, „стал бить его плетью“; это было сигналом: пугачевцы схватили несчастного и повесили, а потом, постреляв в него, бросили в реку, в тину... Тот же дворовый, который был причиной гибели Мертваго, при задержании, ударил жену и дочь его дубиной по голове. Не со всеми кончали на месте; многих в надежде за каждого пойманного помещика получить от новой власти деньги—10 рублей—везли в город, даже к самому Пугачеву, если он был по близости. И сам Пугачев, и его полковники, большею частью, не знали пощады, и дворяне гибли целыми массами. Но и крестьяне, щадя иногда добрых господ, вообще-то не сантиментальничали, а часто в жестокости против своих низверженных „господ“ превосходили даже самого Пугачева и его казацких старшин. Крестьяне при этом все более и более проникались убеждением, что „злодей“—помещик уже более не вернется. Когда отрок-сын погибшего Мертваго обещал наградить одного крестьянина, если опять „все переменится и будет по-прежнему“, то получил на это „грозный“ ответ: „Врешь“, закричал крестьянин, „этому не бывать; прошла уже ваша пора“!

И крестьянство, в целом, сознательно шло на совершенное истребление помещичьего класса, не щадя никого, ни женщин, ни детей, ни даже грудных младенцев. Список убитых дворян во время пугачевщины, как сам народ прозвал эпоху „прекровожаждущего“ крестьянского „рыска“ на дворян, напечатанный Пушкиным, занимает несколько де-

сятков страниц, но он не полон. Самые усадьбы, разумеется, разгромлялись, имущество разделялось между участниками разгрома, при чем делилось положительно все, что попадало под руку—даже обивка мебели и обои. Как и во времена Разиновщины, вступил в свои права первобытный коммунизм распределения, прекрасно уживавшийся с полной анархией потребления. Словом, сильно и глубоко всколыхнулось крестьянское царство. Казанская и Нижегородская губернии сразу запылали мятежом, и ясно было, что пожар будет перекидываться всюду, где появятся пугачевские партии, почти безразлично с самим Пугачевым или без него... Слышно было, что и в столицах „чернь", особенно в Москве, волнуется и в нетерпеливом напряжении ждет „освободителя"—„батюшку Петра Федоровича", как когда-то ждала „батюшку Степана Тимофеевича". Немногие, оставшиеся в живых и на свободе, сообщники Пугачева, яицкие казаки, понимая всю социальную обстановку восстания, звали своего показного главу в поход на Москву; это был смелый план, но, при общем сочувствии простого народа предприятию Пугачева, к которому, как к Петру III, тянулось и духовенство и даже купцы, тоже классовые недоброжелатели дворянства,—осуществление этого плана могло увенчаться успехом: Екатерина считала это возможным и сама некоторое время спала, не раздеваясь, готовая бежать за границу с драгоценностями, разложенными по карманам.

Но Пугачева не хватило на выполнение предложенного товарищами плана. Это был обыкновенный, хотя и довольно бойкий и ловкий, авантюрист бродячей Руси, не веривший в конечное торжество своего дела, отделенного им, в конце кон-

цов, откровенно от дела народа. Он решил сделать попытку уйти от начавших его энергично преследовать правительственных войск и начал быстрое отступление в южном направлении, вместо того, чтобы идти на запад—на Москву. Сначала он было думал найти поддержку на своей родине, на Дону, но, когда эта надежда сорвалась, он пустился совсем на утек, дабы скрыться в том же мире бродячей Руси, из которого он вышел. Всюду где он проходил, вспыхивало возстание крестьян и вообще простонародья; но оно не задерживало Пугачева: он стремился дальше. Это не обескураживало возставших, ибо у них появлялись свои „пугачи", которые и продолжали работу главного „пугача" в ширь и глубь. Иные, предводительствуя большими сборищами мятежников, наводили ужас на большую округу: таков, напр., бывший дворовый Фирска, взволновавший „чернь" в Симбирском уезде на столько, что она, по свидетельству Рычкова, потерявшего здесь сына, „едва-ли не вся устремилась на убийство и разграбление дворян". Симбирск был в трепете от этого энергичного пугачевского помощника, пожалованного Пугачевым в полковники, и чуть-чуть удержался. Сам Пугачев тоже обошел этот город и попал в него лишь впоследствии—пойманным, в железной клетке. Теперь, пока еще вольный верховный пугач, во время полета своего к югу, брал города довольно успешно, ибо сопротивление в них не было организовано, а измена матушке-императрице встречалась все чаще и чаще и все в более широких размерах. Взял он Пензу, потом Петровск, из которого двинулся на Саратов. Пугачев двигался очень быстро; только конных из прибывавших к нему крестьян он присоединял к своей толпе, пеших отпускал, ибо для

той быстроты, с какой он двигался, можно было иметь лишь конное войско. За ним шел громадный обоз с награбленным добром, с женщинами и детьми. Те компактные группы сторонников Пугачева, которые во что бы то ни стало хотели присоединиться к его толпе, идя за своим новоявленным „батюшкой“, долго не могли его догнать. Лишь под Саратовом присоединились к нему Волжские казаки, а заводские крестьяне, шедшие за Пугачевым от Казани, нагнали его только когда он уже вышел из Саратова.

Под этот последний город Пугачев подступил 5 августа (1774 года). Укреплен Саратов был плохо, но главная для него беда заключалась в том, что среди властей его не было единодушия, они ссорились между собой и старались подсидеть друг друга; к тому же не только среди жителей, но и среди войска открылась измена екатерининскому правительству; у коменданта Бошняка осталась лишь самая малая часть солдат, большинство которых вместе со своим начальником Салмановым и почти со всеми офицерами перешло на сторону самозванца. Бошняк со своим ничтожным отрядом вышел из Саратова и с боем отступил сначала до Улешей, а потом на лодках к Царицыну. 6-го августа город был занят пугачевскими отрядами; сам он не в'ехал в город, все время оставался в своем лагере в 3-х верстах от города, в Улешах. Сюда саратовское духовенство устроило крестный ход 17 августа и тем самым оказало Пугачеву полное признание, как „государю“, возглашая его имя во время богослужения вместе с именем его яицкой жены—Устиньи Петровны. Между тем в Саратове происходила уже обычная пугачевская расправа. Многие дворяне и чиновники погибли; пострадало

не мало и простых жителей, ибо вешали не только „благородных“, но и простых людей, даже бурлаков, если они в чем-либо противились новым властителям, убивали всех, кто только не желал отдать своей собственности. „Перечислить число убитых и повешенных“, говорит новейший исследователь, „было бы напрасной попыткой“. Разливанное море необузданного разгула захлестнуло и попов, которые в полупьяном состоянии приводили к присяге саратовских жителей в стане самозванца. Здесь же работали и виселицы. Саратов был освобожден от имевшихся в нем ценностей, частью сгорел. Пугачев забрал отсюда 5 пушек и 25.789 р. медными деньгами; а пришлая и местная народная толпа расхватила „более 19 тысяч четвертей муки и много овса“; 9 августа Пугачев выступил из Саратова к Царицыну с отборным войском, но толпы его хозяйничали здесь еще до 11 августа, когда им пришлось ретироваться, ибо и к Саратову подходил авангард гнавшихся по следам Пугачева правительственных войск.

Несмотря на то, что под Царицыным к Пугачеву присоединилось до 3.000 ставропольских калмыков, этого города взять ему не удалось: к Царицыну подходил Михельсон, и самозванцу спешно пришлось отступить дальше.

VIII.

Конец Пугачева и пугачевщины.

Верстах в 60-ти от Царицына, ниже Сарепты, у Сальникова завода Михельсон, наконец, настиг самозванца и, нанес ему решительное поражение (26 августа). Пугачев потерял всю свою „армию“

вместе со своим „фельдмаршалом“ Овчинниковым, пропавшим без вести. Видя, что, после отчаянного сопротивления, все потеряно, Пугачев с „яицкими казаками и несколькими крестьянами, с женой и больным сыном“, как он сам впоследствии показывал, „бежал к Волге“. Стали переправляться спешно на другую сторону: „в торопливости“, сообщал потом Пугачев, „многие вплавь, а я с женой в лодке, приехали на остров. А как с оного еще надо плыть, то Перфильев, не знаю для чего, остался и с ним несколько толпы моей людей“. Так Перфильев больше и не соединился с Пугачевым, будучи захвачен отдельно от него с оставшимися людьми. Сам же Пугачев, переправившись на луговой берег Волги, с яицкими казаками, собравшимися вокруг него в количестве около 160 чел., бросился на Узени, „в место такого положения, какое всю мятежническую тварь в себя вмещает“. Но там самозванческое его поприще кончилось: он был арестован бывшими при нем его „чиновными людьми“, воспользовавшимися тем моментом, когда они очутились с Пугачевым по одну сторону р. Узени, тогда как остальная его толпа оставалась еще по другую. В полночь с 14 на 15 сентября (1774 г.) значит, через год после начала его „царской“ карьеры, он был привезен в Яицкий городок и выдан екатерининским властям. Закованный в кандалы и посаженный, как зверь, в железную клетку, он был затем доставлен в Симбирск к верховному „усмирителю“, гр. Петру Панину; тот, увидав Пугачева, рассвирепел, дал ему несколько пощечин и оттаскал за бороду, „которою, саркастически пишет Панин, „он Российское государство жаловал“. Побил „верховный усмиритель“ скованного Пугачева, приведенного перед его

светлые очи, как Панин сам сознается, „от распаленной крови на его (Пугачева) злодеяния“, т. е. на пролитую им дворянскую кровь. Страшный враг дворянства был в оковах, и потому можно стало представителям этого класса дать волю и своему злорадству, и всякому надругательству. Панин только выразил общее дворянское настроение, которое особенно ярко проявилось во время казни Пугачева в Москве, на Болоте (10 января 1775 года). Дворянство было в восторге и, теснясь к эшафоту, не скрывало этого; оно считало это кровавое зрелище своим „дворянским праздником“ и наслаждалось физическим и умственным созерцанием того, как за пролитую дворянскую кровь платил кровью же показной глава „прекровожаждущего рыска“ на дворян. Казнены были и ближайшие, попавшие в руки дворянства, сообщники Пугачева (Перфильев—в Москве, Чика-Зарубин—в Уфе), кроме тех, которые сделались его предателями (Иван Творогов и Чумаков с товарищами). Немилостиво были наказаны вожаки башкир. Таковыми были, мы знаем, например, Юлай и его сын Салават Юлаев. Пугачевская агитация сильно увлекла Салавата Юлаева, этого экспансивного башкирского патриота. Кто не хотел пристать к восстанию за лозунги, брошенные в башкирский народ Пугачевым, все беспощадно истреблялись Салаватом: он их казнил всеми видами смертной казни вплоть до сожжения заживо и притом всех поголовно с женами и детьми. Когда Пугачев был уже пойман, в ноябре месяце все еще продолжался бунт в 10 башкирских волостях и виновником этого упорства башкир в восстании был Салават. Понятно, что когда он сам был изловлен, правительственный суд его не пощадил, равно как и

его отца, тоже одного из руководителей башкирского движения. Оба они были приговорены к наказанию кнутом во всех тех местах, где они мятежнически действовали, а потом к ссылке в каторжную работу,—после того, как они будут заклеймены и у них будут вырезаны ноздри. С этими клейменьем и вырезыванием вышла некоторая задержка. Когда Юлай и Салават предстали пред присутствием правительственной канцелярии после всех этих наказаний, то члены ее с удивлением увидали, что оба преступника с ноздрями и без клейма. Спросили того чиновника, который должен был позаботиться, чтобы у них не было ноздрей и были бы клейма. Он, к не меньшему, вероятно, удивлению присутствующих, ответил, что клейма по какой то причине стерлись, а ноздри выросли снова. Провинциальная канцелярия не удовлетворилась этим об'яснением, постановила заклеймить преступников и вырезать у них ноздри при членах канцелярии. После исполнения этого приговора в такой обстановке, надо думать, ни клейма не стирались, ни ноздри не вырастали. Так наказывали мятежных вождей башкирского народа. Но казнями главарей классовое чувство мести дворянства не могло быть удовлетворено. Пред ним вставал коллективный виновник—крестьянство, возбуждавшее в нем острое желание проучить непокорных „рабов“ жестоким образом. Верховный „усмиритель“ на местах пугачевщины, дабы памятно было мятежному крестьянству надолго, развил такую систему самого необузданного террора, что его стала останавливать сама „матушка—царица“, считавшая в данном случае милосердие „неуместным“. Но Панин, как истый представитель своего класса, принимал „с радостию про-

литие крови таких государственных злодеев на себя и на чад своих". Он приказал в бунтовавших местах вешать одного человека от каждых 300 ч., всех же остальных крестьян велено было „пересечь жестоко плетьми, и у пахарей, негодных в военную службу, на всегдашнюю память злодейского их преступления, урезать у одного уха" и т. п. Словом, дорого заплатило крестьянство за пролитую дворянскую кровь: так всегда бывает, когда революция трудящихся подавляется нетрудовым классами, ненависть которых, вздувшаяся от попытки к их ниспровержению, всегда превосходит классовую ненависть трудящихся. Пугачевщина была подавлена. Ближайшим последствием этого был голод в тех местах, которые ею были захвачены. Разорение и недоимки—вот что осталось для крестьянства от попытки стать господами своей жизни, совершенно устранив из нее помещичьий класс—по одной Казанской губернии в одних только экономических селениях недоимки за один год образовалось до 100,000 р.—и ее надо было платить с разоренного хозяйства. [1]) Не удивительно, что крестьянство присмирело, а некоторые, наиболее впечатлительные, представители его впали в отчаяние. Последнее видно хотя бы из того, что как раз, в Волжско-Камском крае, в крестьянстве усиливается развитие религиозного изуверства: проповедывается учение совсем уходить из этого мира при помощи самосожигания или самоутопления, и находятся фанатические последователи этого ученья, осуществляющие его мрачную, смертную идею. За то победивший класс

---

[1]) М. Ар., б. М. Юст., Дело № 39 по коллегии экономии, связка 590.

—еще более, чем до пугачевщины предался утехам этого грешного мира, и венцом такого рода стремлений дворянства несомненно явилось то общество физических наслаждений, которое было открыто властями в Москве—они искали крамольных мартинистов, опасных для самодержавия революционеров, а нашли красивых и здоровых людей из высшего дворянского общества, соединившихся в в тайное общество с целью предаваться без всякой сдержки и без особых церемоний половой любви [1]). В дворянстве, стало быть, после пугачевщины чувствовали себя очень жизнерадостно, в крестьянстве же очень мрачно, безнадежно. И формы и этой жизнерадности, и этой безнадежности ярко характеризовали главнейшие черты жизни обоих боровшихся классов—это, с жиру бесящаяся сытость на чужой, народный счет—дворянства и безысходная, на почве материальной скудости, умственная темнота крестьянства. Благодаря этой последней черте последние не удержались, на взятом ими на один миг положении первых; потому и не удержались, что смотрели не вперед, а назад: стремились к новой жизни без помещиков, но думали прийти к ней старым путем чрез отдачу себя под верховную опеку единому барину —царю. Новый путь пред умственным взором крестьянства пока застилался непроглядной тьмой, или, точнее говоря, вследствии господствовавших тогда производственных отношений, нового пути еще не было. В этом—причина полного краха пугачевщины и последовавшего за ней мрачного угнетения духа и разочарования в себе и жизни крестьянских и вообще простонародных масс.

---

[1]) Записки Массона „Голос Минувшего", 1917 г. I, стр. 107 и 108.

Очерк пятый.

Крестьянское движение после Пугачевщины (в XVIII ст.).

Террор, подавивший Пугачевщину, произвел на крестьянство настолько сильное, потрясающее впечатление, что довольно долго, в течение 2-х десятилетий, не возникало сколько-нибудь серьезного крестьянского движения. Но вместе с тем едва ли можно отрицать, что одним из тяжелых результатов Пугачевщины было укрепление в крестьянской психике недоверия и даже ненависти к барину. Эта ненависть сейчас же вспыхивала, как только возникал какой-либо конфликт между крестьянами и помещиком, о чем свидетельствует, например, рассказ известного Болотова о крестьянском „непослушании“ вскоре после казни Пугачева, когда в ответ на брань барина предводитель крестьянской толпы сам обругал его и чуть было не схватил за ворот...

Положение помещичьих крестьян после Пугачевщины ухудшилось, ибо и средний размер оброка увеличился, обнаруживая тенденцию еще более возрасти, и господский произвол развертывался еще нáглее после победы дворянства над крестьянством. Невыносимость положения крестьян заставляла их иногда встряхиваться, и тогда то там, то сям сново рябило от крестьянских „противностей“, слышались всплески в глубинах своих неспокойного моря...

Сколько известно, такие отдельные, разновременные и разноместные „противности“ произошли

в 20 вотчинах на протяжении 20 лет. Значит, в общем было „спокойно“. Тихо было и на восточной, заводской окраине, где, как мы видели, и раньше Пугачевщины шумели крестьянские волнения... Екатерина II полагала, что ее манифест 1779 года (21 мая), точно определивший, какие работы обязательны для заводских крестьян, и есть та причина, почему с тех пор „ничего“ о заводских волнениях стало „не слышно“, почему „беспокойства прекратились“ [1]).

Но в двадцатилетний период относительного спокойствия успело возмужать новое поколение, которому было чуждо ощущение подавленности от жестокого усмирения 1775 года, и со вступлением на престол Павла, крестьяне во многих местностях снова открыто отказались терпеть помещичьий гнет и произвол. По великому морю русского крестьянства опять заходили гневные волны... Это новое крестьянское движение, быстро разрастаясь, заставило напуганных дворян подумать, что начинается новая Пугачевщина.

Первые известия (в декабре 1796 г.) о крестьянских волнениях пришли в Петербург из Олонецкой губернии, а потом вскоре (в январе 1797 г.), еще из 11 губерний—Орловской, Московской, Псковской, Новгородской, Новогород-Северской, Ярославской, Нижегородской, Пензенской, Калужской, Костромской и Вологодской; но крестьянское „непослушание“ не останавливалось в этих пределах: перекидываясь из губернии в губернию, оно охватило 32 губернии [2]). Причины нового серьез-

---

[1]) П. С. З., XX, 14878, Сочин. Екат. XII, 523.

[2]) Однако ни в Казанской, ни в Симбирской губерниях волнений не возникло, и это, надо думать, свидетельствует о том, что здесь наиболее была свежа память о панинском терроре и „успокоении“.

ного крестьянского движения—прежние: крепостное право и, особенно, его крайне обременительная во многих местах „практика“... Эти причины выясняются самими крестьянами в их жалобах и заявлениях. Указывали крестьяне на свое печальное экономическое положение, на крайнее разорение от оброков и поборов, достигающих иной раз очень крупных цифр,—до 3 — 5 руб. в год с души, а часто до 7—15 рублей с души и до 20 рублей с венца. [1]) Жаловались крестьяне на тяжелые работы по так называемой „барщине“—работы ежедневные, не обходившие даже праздников. Заведение помещиками в вотчинах фабрик и заводов, способствуя индустриальному прогрессу в земледельческой стране, в то же время оказывалось в высшей степени отяготительным и разорительным для крепостных масс. При известной быстроте распространения дворянских фабрик и заводов, неудивительна интенсивность крестьянского протеста против помещичьего произвола, так или иначе связанного с крепостным фабрично-завод-

---

[1]) В конце царствования Екатерины средний оброк, которым облагали помещики крестьян, был равен 5 руб. с души. Даже 7 р. с души крестьяне готовы были считать за неотяготительный оброк, когда он сменялся оброком в 11 рублей, как это было напр,, в одном имении Белорусской губернии; оно сначала принадлежало Н. И. Панину, требовавшему с крестьян 7 руб. „без всякой услуги“, и этого владельца (коего не следует смешивать с „усмирителем“ Пугачевщины Петром Паниным) крестьяне называли своим „отцом“, а не „господином“, и говорили, что они молятся „за его представшую душу“... И вполне понятна такая память крестьян о Никите Панине, когда какой-то барон, к которому они поступили от Д. И. Фонвизина, соблюдавшего панинскую норму, установил 11 руб. оброка (с души) и в 4 года крестьян „до крайности разорил“, а следующий за бароном владетель (П. Рысинский) „начал их пуще прежнего разорять“.

ским производством. Мы видели, как энергично боролись, не говоря о государственных, даже помещичьи крестьяне против приобщения их к фабрично-заводскому делу в половине XVIII века, когда это дело, можно сказать, только начиналось; к концу века дворянский вкус к этому делу сильно развился: дворянская фабрика сделалась обычным явлением, эксплоатация крестьянского труда для дворянской промышленности увеличилась, положение крестьян ухудшилось, естественно вызвав в них и более широко распространенное, и более острое недовольство. В самом деле, нередко увлечение помещиков фабрично-заводским делом ставило крестьян в невыносимое, безвыходное положение. Задумает помещик строить завод в своей вотчине,—и если ему нужно место для постройки „жилых дворов и изб“, то вся деревня переводится в другие селения, а ее поле помещик „приказывает пахать на себя“; при этом оставляет совершенно в стороне вопрос о том, как такие хозяйственные операции повлияют на экономическое и моральное состояние переселенных: „господин наш“,—жаловались потом крестьяне,—„когда завод строили, целое селение разорил“.

Завод готов. У крестьян „довольно“ господской работы—пашенной, сенокосной и строения; но теперь помещик—заводчик, и крестьяне, „сверх оных работ“, наряжаются на другие, необходимые для завода; так, по одной крестьянской жалобе каждый мужчина от 15 до 70 лет был обязан заготовить для завода в год 30 саж. дров и 30 четв. золы. „Сначала“, рассказывает та же жалоба, „крестьяне исполняли эти уроки; но потом число работников уменьшилось, ибо 15 чел. помещик свез в другие места, многих продал в рекруты,

многие разбежались „от несносных работ и тягчайшего наказания“, и тогда оставшимся пришлось совсем невмоготу, а господин уже увеличил „уроки“, накинув по 3 саж. дров и по 3 четв. золы на человека, уроки стали не выполняться, за что „работных людей“ „секли немилосердно“ „каждую неделю“. Не довольствуясь этим регулярным наказанием, помещик 30 декабря 1796 года, прибыв в стеклянный завод, начал обривать головы „работных людей“ и хотел их всех поголовно пересечь; тогда они „поклонились“ ему и отказались работать, или, как говорит жалоба, „прочь от него отошли“, сказав суровому господину: „Мы из сил своих вышли, и ваших уроков сработать не можем, потому что мы хлеба уже для пропитания не имеем, также одежи и обутки на нас нету, а всегда и с женами нашими на вашей господской работе непременно день и ночь работаем, от мразу и гладу умираем, а пропитание имеем только-только, как маленькие ребята наши, ходя в мир, напросят и нас питают“. Вот отчетливо выраженные самими крестьянами причины их волнений в павловское царствование. Они сводятся попрежнему к тому социально-экономическому гнету, в котором выражалось в жизни крепостное право; как и раньше, к чрезвычайно тяжелому материальному положению нередко присоединялось не менее тяжелое моральное—насилие над личностью крепостных, изнемогавших, как видим, под „тягчайшими наказаниями“, а также под бременем других крепостных отношений; особенно жутко приходилось женщинам и девушкам, даже девочкам, склоняемым к разврату и подвергаемым за отказ разным истязаниям и надругательствам.

Администрация прикрывала помещиков и старалась ослабить крестьянские жалобы; но все-таки и администрация принуждена была иногда указывать на малоземелье (при наделе по 1-й десятине в 3-х полях) и на крестьянское нищенство...

В крестьянских жалобах, в которых более или менее громко слышится стон крестьянской души, не было ничего преувеличенного. Факты, устанавливаемые через них, и другие, о которых сообщаемое в них заставляет думать, назойливо преследуют наблюдателя на всем протяжении крепостной эпохи и твердят ему об одной и той же, утомительно повторяющейся повести—о том, как невозможные условия жизни крепостного—требовательные поборы, повинности, барщина, рекрутство и „мучительства“ от помещиков—вызывали вечно напряженное, то унылое, то гневное состояние крестьянской психики, жалобы „государю“ на горькую крестьянскую долю, сообщающие всей истории крепостного крестьянства скорбный, плачущий характер. Эта повесть, наконец, говорит и о том, как в случаях особенно крайнего состояния и раздражения являлось неповиновение помещикам и властям, как возникали крестьянские волнения. Помещичья фабрика, помещичий завод были одной из существенных причин волнений 1796—1797 г.г.: не даром за означенное время отмечают более 20 волнений именно на почве „господской промышленности“.

Нами еще раз подчеркнуты и суммированы постоянно действовавшие силы крестьянских волнений, всегда глухо рокочущие в глубине крестьянского общества; они сообщают волнению упорство и устойчивость, когда оно началось; но при всей безвыходности положения крестьян, их открытое

широкомассовое движение никогда, как мы видели, не начиналось без какого нибудь внешнего повода, за который могла бы ухватиться народная мысль для пропаганды и боевого, весьма рискованного, выступления против социального гнета. Так было и теперь. Воцарение нового государя вызвало в крестьянах обычную надежду на него, возникаемую с той же удручающей наблюдателя повторяемостью, с какой повторяются крестьянские жалобы на бедствия от помещиков... Отсюда—ожидание „указа“ и неправильное, но согласное с крестьянскими желаниями и мечтами, толкование указа, уже изданного. Павлом был обнародован указ о присяге и для крестьян; тотчас же среди последних „рабов“ пошел слух о воле. „Присягать велено“, говорили в народе, „для того, чтобы крестьянам не быть за помещиками“, а вскоре по всей России распространилась уверенность крепостного крестьянства в том, что царь дал „волю“, но что „господа“ ее скрыли. Это и было ближайшим „поводом“ к начавшемуся сильному брожению и волнениям. Указ 12 декабря 1796 года о дозволении крестьянам подавать жалобы на высочайшее имя, повлекший за собой целый жалобный поток, разумеется, не мог не укрепить уверенности крестьянства в том, что царь на его стороне, что лишь помещики стоят на пути освобождения крестьян из неволи. Чего же крестьяне желали, по освобождении, в этот момент?

Современник свидетельствует, что крестьяне поднялись, будучи побуждаемы „слухом“ „от злонамеренных людей“, что „у помещиков крестьян не будет“, „что все будет государщина“. Этот же современник замечает, что слово это—государщина—„мужичье“. Отсюда ясно, что рассматривае-

мое движение не имело по отношению к существующему государственному порядку анархического характера: крепостные „мужики“ стремились только перейти в разряд государственных крестьян; „государщина“—вот предел желания волновавшихся крестьян в царствование Павла; в иных случаях они отказывались даже не от помещиков, а только от слишком тяжелых повинностей, наложенных на них помещиками, как это часто бывало до Пугачевщины. Павловские крестьянские волнения блистательно опровергают мнения современника-дворянина, что „крестьяне считают милостью и преимуществом переход в частное владение“ [1]: наоборот, из „частного владения“ они стремились в „государщину“.

В крестьянском движении при Павле, как и раньше в Разиновщине и Пугачевщине, оказалось замешанным сельское духовенство [2].

Представители этого сословия не только распространяли „слух“ о мнимых освободительных манифестах и писали крестьянские прошения государю, настрочаемые иногда учащимися детьми клира, семинарскими „штудентами“, но и принимали более активное участие в движении. Попы, по оффициальным известиям, являлись иногда прямо предводителями крестьян, вооруженных

---

[1]) „Русск. Арх.“, 1869, т. VII, 1893 стр.

[2]) Об этом, кроме других данных, свидетельствует окружное послание Вологодского архиерея к духовенству, внушавшее ему не только не принимать в открывшемся „непослушании“ крестьян „ни малейшего с ними участия“, но и удерживать от того „невежд“ и вразумлять их, что они обязаны повиноваться „владыкам своим во всяком страсе, не токмо благим и кротким, но и строптивым“. „Послание“, как и следовало ожидать, не отвратило „духовных“ от того или другого участия в крестьянском движении.

ружьями, топорами, дубинами... Необычайное иной раз происходило в сельской церкви.

Вот в ней битком-набито крестьянами... На амвоне аналой. Царские врата растворяются... Из них выходят священники в полном облачении, с крестом и евангелием. По положении этих священных предметов на аналой, крестьяне один за другим прикладываются к ним, а также к иконам и клянутся в „единодушном до смерти стоянии“... Это—отправление на войну с посланными для „усмирения“ войсками, которые по старому считались крестьянами не царской, а барской наемной силой. Впрочем, как бы для полного устранения вопроса о том, кто приказывает крестьянам повиноваться,—царь или бары, говорилось, что в данный момент совсем нет на Руси государя: именно так, по оффициальному известию, „врал“ один поп и мотивировал свое „вранье“ тем, что Павел „не короновался“.

При агитации и содействии движению со стороны духовенства „возмущение“ крестьян в иных местах усиливалось до крайней степени и бывало, что присланная недостаточная „команда“, как и в прежние времена, побивалась вооруженной крестьянской толпой. Это, в свою очередь, сделавшись известным, еще более усиливало и расширяло волнения.

Дворянство не на шутку испугалось, ему, уже при начале движения, стала мерещиться Пугачевщина.

...„Видим—писал один из членов этого сословия,—явно готовящийся бунт, весьма похожий на Пугачевский“... Далее было высказано убеждение, что все крестьяне заражены от времени Пугачева духом отрицательного отношения к „благородному“

сословию, „дабы не было дворян“... Напуганное воображение заставляло утверждать, что будто бы крестьяне поговаривали об уничтожении не только дворянства, но и городов. Страстно желая от правительства и его агентов решительных и энергичных мер, дабы поскорее привести взбунтовавшихся в надлежащее повиновение, этот же дворянин, в противном случае, очень опасался, как бы „бунт“ „не разразился далеко“ и не перешел бы в „истребление невинных дворян, каковое было от Пугачева“. Жаловался этот дворянин на участие в движении попов, „кои—прибавлял он,—„т.-е. деревенские те же мужики, только что грамотные“. Подобным образом о крестьянском движении 1796—97 г.г. думали многие дворяне; так, несомненно, думало и само правительство, то же хорошо помнившее Пугачевщину и теперь немедленно принявшее крайние меры.

В некоторых местах движение было, действительно, внушительно. Так, в Орловской губернии, в вотчинах кн. Голициной и гр. Апраксина вооружилось и поднялось до 13.000 крестьян. И эта толпа, имея предводителя, заставила Ахтырский гусарский полк вместе с губернатором ретироваться. Но, тем не менее, крестьянские волнения при Павле, обладая некоторыми чертами Пугачевского мятежа,—далеко не Пугачевщина. „Повод“, возбуждавший одновременно почти по всей европейской России крестьнские волнения, действительно, сближают их с Пугачевщиной, равно как и со всеми народными движениями в России, которые пытались осуществить яко-бы царскую волю. Но, не говоря о сложном составе Пугачевщины, совсем несоизмеримом с чисто-крестьянским движением при Павле (и притом лишь помещичьих крестьян),

мужицкий протест в этом последнем движении далеко не достиг полноты и определенности пугаческого настроения, разрушительной его силы и остроты, далеко не сделался наступательным... Если в одних местностях крестьяне брались за дубовые колья и готовы были умереть „за волю“, то в других все дело протеста ограничилось брожением и писанием жалоб далекому государю. Движение, по обыкновению, совсем не организованное, не имевшее ни общего предводителя, ни малейшего намека на план действий, представляло даже не бунт, а имено ряд отдельных местных брожений и волнений, связуемых в целое движение только своими причинами и своим „поводом“,—и потому, вполне естественно, это движение решительными мерами правительства было подавлено сравнительно очень быстро.

Было бы утомительно и ненужно рассказывать о всех этих „усмирениях“, отличавшихся обычным, известным нам, характером. Я остановлюсь только на некоторых, особенно серьезных проявлениях крестьянского протеста. Наибольшую интенсивность приобрело крестьянское движение в губерниях Орловской, Тульской и Калужской, т. е. в местностях, где не было Пугачевского бунта. Здесь, именно, в Севском уезде (Орловской губернии), бунтующих собиралось, как упомянуто выше, до 13.000 человек. В Тульской губернии движение было тоже интенсивно. Собираясь в гораздо меньшем числе, крестьяне отвергали не мнимый, а действительный манифест, (29 января), требовавший от крестьян повиновения помещикам. Они не желали его слушать, считали подложным и кричали:

—Умрем, а не хотим быть за помещиком Желаем остаться казенными!

Но еще раньше обнародования манифеста о крестьянском послушании Павел, сильно обеспокоенный разраставшимся движением, принял более действительную меру для приведения крестьян к покорности. Высочайшие повеления губернаторам—поскорее подавить восстание, собственноручные рескрипты императора начальникам отправляемых команд и многочисленные, то и дело скакавшие „курьеры“ из Петербурга—все это мало подвигало вперед „усмирение“, и Павел 20 января назначил общего руководителя операциями против волнующихся — главнокомандующего. Таковым явился генерал-фельдмаршал и генерал-губернатор Остзейского края и Литвы кн. Н. В. Репнин, прежняя служба которого, общественное положение и чин указывают, как высоко оценил Павел крестьянское движение.

На другой же день, по назначении, кн. Репнин отправился усмирять прежде всего в Вологодскую губернию. Хотя отсюда именно послышалось дворянское опасение новой Пугачевщины, в этой губернии крестьяне, как раз, оказались довольно податливыми, сами принесли повинную, и в военных командах, направляемых сюда кн. Репниным, здесь не встретилось надобности; также без кровопролития обошлось усмирение в Ярославской и Владимирской губерниях. В Ростове Репнина настиг курьер с предписанием от Павла спешить в Орловскую губернию. Здесь, главным образом, в Голицынской и Апраксинской вотчинах „усмирение“ получило другой вид. Еще до прибытия в мятущийся Севский уезд кн. Репнина, в местечке кн. Голицыной Рагодоще орловский губернатор Воейков и генерал Линденер применили к делу „усмирения“ оружие—стреляли по этому селу из

2-х пушек; после чего собравшиеся здесь крестьяне принуждены были покориться, а главари возмущения, нашедшие было убежище на колокольне, сдались. Но крестьяне, собравшиеся в селе Апраксина Брасове, еще не были усмирены, и сюда то (из Рагодощи) и направился прибывший на театр военных действий кн. Репнин. В Брасове было более 2.000 инсургентов. Огнестрельного оружия у них не было. Но они, „несмотря на увещение,—как пишет в своем дневнике кн. Репнин,—не сдавались и не покорялись". Тогда кн. Репниным было приказано стрелять из пушек и ружей: было „начато",—говорит это усмиритель,—„их покорение силою".

—Стреляй!.. — кричали крестьяне солдатам, стойко держась тесной толпой близь помещичьей усадьбы.

Вооруженные цепами и дубинами они сопротивлялись 2 часа, но 33 пушечных и 600 ружейных выстрелов сделали свое дело: 20 крестьян пали на месте убитыми и 70 ранеными, село запылало, а остальные „пали на колени и стали просить помилования", сообщает кн Репнин. Усмирение совершилось. Зачинщики были перевязаны, в том числе и главный предводитель этой толпы Емельян Чернодыров, найденный в погребе.

В своем сообщении орловскому губернатору о „наказании" крестьян „силою оружия", „яко извергов, злодеев и преступников", кн. Репнин прибавляет, что „тела их, справедливо погибшие, не достойны погребения общего с верными подданными, зарыты в особую яму".

В могилу несчастных был вбит кол с надписью: „здесь лежат преступники против бога, государя и помещика, справедливо наказанные

огнем и мечем, по закону божию и государеву". Креста на могиле небыло: „преступники" взяли его с собой в могилу... Усмиренные „изверги" и „злодеи" нанесли не особенно большой урон правительственному войску в неравном бою с ним: ими было ранено 2 гусара, упавших вместе с лошадьми, да гусарский шеф за свое „усердие" (так выражается кн. Репнин) получил полновесный удар дубиной по спине. Последнее обстоятельство, вероятно, было тем обиднее для генерала Линденера, что он за „усердие" в брасовском деле не получил другой награды, тогда как шеф другого, учавствовавшего в „баталии", полка—кн. Горчаков получил от Павла Анненскую ленту.

Брасовская „победа" имела устрашающее значение для крестьян, волновавшихся в других местностях.

Так до этого события вице-губернатор Митусов имел малый успех в подавлении движения в Калужской губернии. Нельзя, однако, сказать что он действовал без энергии. Не найдя взрослых мужчин—крестьян в вотчине Давыдовой, ибо они разбежались,—Митусов не потерялся: он взял да и „пересек кнутьем крестьянских жен и детей среднего возраста", сверх того сжег „особо стоящую клеть", дабы вызвать скрывавшихся крестьян, но из-за сего,—как сообщал во всеподданейшем рапорте находчивый и храбрый администратор,—„никого из скрывшихся не явилось". Не предвиделось сначала быстрой удачи для Митусова и в имении Воейковых, где обозначался тоже дружный отпор... Но как раз в этот момент сюда дошло известие о брасовской бойне и о том, что „покоритель" спешит в Калугу, и тогда взволновавшиеся крестьяне стали податливы на увещания Митусова

и смирились [1]). Когда кн. Репнин (26 февраля) приехал в Калугу, то в губернии уже не было волнений, и фельдмаршал собрался было двинуться на Смоленск, как присланные из Петербурга „бумаги“ заставили его направиться в Москву.

Успокоить крестьян Псковской и Полоцкой губернии был назначен генерал от инфантерии Философов, но под высшим руководством кн. Репнина. Здесь движение не приобрело значительной напряженности, хотя были случаи и несколько конфузливого свойства для военных команд; так под одним погостом Псковского уезда крестьяне заставили гренадерскую команду отступить, после стычки с ними, с потерей капитана-исправника, схваченного и исколотого рогатиной; а в Полоцком намесничестве был случай, когда крестьянами были захвачены и заключены под стражу исправник, заседатель и целая военная команда вместе с ее командиром. Полковник Тучков, посланный Философовым с 3-мя ротами Белозерского полка и с одной пушкой, меньше чем в неделю, подавили волнение в Псковском наместничестве „без кровопролития“, как говорит оффициальное „донесение“, но то же „донесение“ Философова уведомляет,— что 80 крестьян испытали „легкие казни без дальних судов“—так этот генерал называл наказание „батогами и плетьми“. Однако и без „дальнего суда“ дело не обошлось: суду было предано чет-

---

[1]) Повергались,—пишет Митусов в донесении государю,— все предо мною с раскаянием и испросили у помещиков прощения. Перед усмирителем и здесь выяснилось, что крестьяне возмутились, будучи „развращены“ каким-то указом и сельскими попами, преданными, как и „начинщики“—крестьяне суду: последние уездному, первые духовного правления.

веро крестьян и 10 попов и дьяконов—все „главные возмутители".

В Полоцком наместничестве, по оффициальным известиям, „усмирение" было закончено в 8 дней тоже „без кровопролития при помощи одних военных демонстраций".

Упорное сопротивление оказали крестьяне имений Рысинского и Корсакова в Белорусской губернии. Экономический гнет и жестокость Рысинского так озлобили крестьян, что для их успокоения мало было 100 посланных сюда солдат, и пришлось вызвать еще 3 эскадрона гусар. Вообще же следует подчеркнуть, что ни в одной местности волнения не достигали такой силы, как в Севском уезде, Орловской губернии, где особенно ярко проявился и характер „усмирения", и самих „усмирителей". Брасовское кровавое столкновение было кульминационным моментом в развитии волнений, и после этой катастрофы они идут на убыль и приблизительно к марту 1797 года затихают.

Море крестьянства снова улеглось... Этому, несомненно, до известной, степени содействовал знаменитый указ Павла о трехдневной барщине (1797 г.). Есть мнение, что Павел, ограничивший помещичье право на крестьянский труд 3-мя днями в неделю, а затем также запретивший (1798 г.) продавать в Малороссии крестьян без земли, встал на сторону крестьянства и показал себя убежденным противником дворянства, за что „благородное" сословие и отвергло государя, поправшего помещичьи интересы. Но такое мнение простое недоразумение. Павел не был демагогом, каким его некоторые стараются представить. Известно, что помещиков он считал лучшими правителями народа, лучшими охранителями полицей-

ского порядка в империи. Не поскупился он и на раздачу крестьян помещикам: в день коронации 100 лицам роздал свыше 100.000 душ мужского пола, а за 4 года и 4 мес. своего царствования—около 600.000 душ обоего пола. Не мог поэтому Павел выступить противником дворян, забыть их интересы ради крестьянских.

„Усмирение" крестьян, направляемое из Петербурга, хорошо вскрывает чисто-дворянское настроение Павла, своим манифестом 29 января не оставляющего ни малейшего сомнения на счет его воззрений на крепостное право. Оно для него—одна из основ жизни, и никогда Павел, при его социально-политических взглядах, даже не поставил бы вопроса о полном освобождении крестьян от крепостного ига, от помещичьей власти [1]). Имея в виду воззрение Павла, кн. Репнин только и мог осмелиться на сопоставление помещика с государем и с богом—в надписи над могилою павших жертвою „покорения" крестьян. Эта характерная именно для роялистских убеждений Павла тирада: „бог, государь и помещик", против коих провинились „убиенные в смятении", прекрасно освещает ту позицию, какую занимал этот русский император в крепостном вопросе.

Чем же, если не воззрениями, были вызваны павловские распоряжения и меры, в которых законодатель, как бы пренебрегая дворянскими интересами, становился защитником крестьянских?

---

[1]) Напротив, известно, что и крестьянская жалоба на помещика, поданная на высочайшее имя, не всегда благополучно сходила с рук челобитчику: так однажды „проситель" был отдан под суд „за двукратное утруждение его имп. в-ва го-ря императора дерзновеннейшими и недельными на помещика своего просьбами", затем, по суду, был бит кнутом и отправлен в каторжную работу.

Они были вызваны просто испугом, охватившим и Павла, и высший класс, когда с первых же дней нового царствования зашумело крестьянское движение. И Павлу, и дворянству почудилась новая Пугачевщина, при свежих еще о ней воспоминаниям, домокловым мечом висевшая над главенствующим сословием. Одно подавление крестьянского движения, хотя бы и очень быстрое, теперь уже не успокаивало дворян; теперь уже не надеялись на одно устрашение, не приводившее, как воочию обнаружилось, к прочному послушанию,—и потому чувство самосохранения подсказало правящим некоторую уступку крестьянству не по существу крепостного вопроса, а в порядке облегчения и регулирования положения крепостных. Так, благожелательные крестьянству „указы“ вышли из боязни, дабы дворянство вместе с самим „государем“ не потерпело полной катастрофы в грозном всенародном бунте, во второй и—можно было опасаться—роковой для дворянского общества и государства—Пугачевщине. Крестьянские волнения при Павле, не будучи крайним, мстительно-анархическим движением, не идя дальше „государщины“, дальше освобождения от крепостной зависимости, от гнета и произвола помещиков, были все-таки серьезным движением, тем более опасным, что оно, как и все рассмотренные выше движения, не было случайностью. Будучи продолжением прежних, павловское крестьянское движение явилось постарому предостерегающим симптомом тех болезненных процессов, которые продолжали развиваться в социальном организме России и диагноз которых во второй половине XVIII века ставился не раз и вполне точно—и вдумчивыми людьми из общества, и самим правительством. В

конце века оказалось необходимым приступить и к лечению, хотя бы симптоматическому, застарелой болезни, дабы всем „правящим“ от нея не пропасть.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Таковы народные движения в России в старину. При участии в этих движениях казачества и городского „черного“ люда, стрельцов и пр., главнейшая роль в них, в такие моменты, как Смутное время, при Разине и при Пугачеве, принадлежит громадному большинству народа - крестьянству. Крестьянство в России и было всегда основной силой, при помощи которой казачество-то Донское, то Яицкое угрожали „тряхнуть Москвой“, и, действительно, трясли то „боярской“ Москвой, то дворянским Петербургом. Сверх того, крестьянство и отдельно от других категорий населения постоянно волновалось; при этом оно было иногда весьма требовательно, иногда довольно умеренно. Во-время крупных общественно-государственных встрясок крестьянское движение характеризуется наступательными действиями мужиков против бояр или бар и выступлением на первую очередь мужицкой жажды мести господам и наслаждения на их счет; в „крестьянских волнениях“ усматривается не столько наступление, сколько оборона крестьян от команд, приводящих их к покорности помещикам. В первом случае обнаруживается стремление к радикальному решению крестьянского вопроса— к получению полной воли, всей земли, чрез истребление помещиков; во втором—стремление только

к освобождению от крепостного права или даже к получению некоторого облегчения от него, чрез отказ от помещиков или, по крайней мере, от послушания им в наиболее отяготительных и разрушительных их распоряжениях.

Восставая против правящих классов, простой народ города и села всегда, как бы, выгораживал из этого мира угнетателей—царя, который представлялся народу неизменно благожелательным к нему и тоже неизменно обманываемым окружавшими его—„боярами“ и чиновниками. Царь заступился бы за „чернь“ и сделал бы для нее все доброе, если бы он знал истинное ее положение; но он ничего не знает и потому „смотрит изо рта бояр“. Так думал народ. В конце концов, царь в представлении народа являлся каким-то добреньким дурачком—Иванушкой, главным героем его сказок, обыкновенно превращаемым в них в царевича. И народная надежда на царя оказалась народной сказкой. Суровая действительность опровергла эту сказку. Цари не радели о народных интересах, продолжали оставаться дворянскими царями и мало чем по своему отношению к народу отличались от тех „начальников“, которых они посылали для усмирения крестьян и которым последние не верили, как дворянским... И выходило так, что подавляемые правительством бунты и волнения, при всех новых страданиях, приносимых ими народу,—нечто более существенное, чем надежда крестьян на мирное устроение хорошей и счастливой для них жизни благожелательным к ним царем. Несмотря на постоянные неудачи, бунты и волнения подвигали крепостной вопрос вперед. Бунтуя и волнуясь, крестьянство боролось в сущности за свое бытие. И хотя путь этой борьбы

был тернист и часто усеивался крестьянскими трупами, крестьянство окончательно не падало духом и не теряло надежды рано или поздно достигнуть заветной цели. Правительственные внушения крестьянам о повиновении—указами и манифестами „огнем и мечом“, а также такими „резолюциями“, какая была сделана уполномоченным правительственным агентом над свежей могилой убитых и поруганных мужиков, не могли вырвать из крестьянской души настойчивый порыв к свободе. И крестьянство стойко и упорно боролось за свое освобождение. XIX век в России наполнен крестьянскими волнениями и возмущениями. Они переходят в XX век, и в 1905—1906 г.г. разражаются всероссийской аграрной революцией, по некоторым своим приемам и лозунгам заставившей вспомнить о Пугачевщине и Разиновщине. Эта революция не удалась, так же, как и городская рабочая революция тех же годов, ибо армия, за исключением отдельных солдатских и матросских бунтов, осталась верной царизму. Но это была последняя победа царизма, а вместе с тем и всего старого порядка. Пришла мировая война с неисчислимыми жертвами крестьян и рабочих, с вооружением почти всего способного владеть оружием народа в России—и народ, потеряв свое изумительное терпение, истощенное веками всякого гнета сверху, от царя с чиновниками, дворянства и от развившейся и начавшей давить своим капиталом крупной промышленной буржуазии, сбросил с себя политическое и социальное иго. На этот раз армия дружно поддержала пролетарскую революцию, ибо в данный момент почти весь народ был армией, состоявшей, естественно, в большинстве из крестьян. Таким образом крестьянству, наконец, удалось дости-

гнуть заветной своей цели—взять землю и навсегда освободиться от всего помещичьего класса, о чем оно мечтало во всех своих важнейших движениях в прошлом [1]); остюда, ясно, что вместе с тем стомиллионное крестьянство стало опорой великих достижений всей пролетарской революции в России: отсюда, в свою очередь, понятно, что все будущее России заключается в материальном и умственном преуспении крестьянства, ибо только крестьянское преуспение и может явиться в нашей стране прочной опорой всестороннего преуспеяния рабочего класса.

23 сентября 1923 года.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

---

[1]) См. мое исследование по архивным документам—„Крестьянская революция 1917 г. и временное правительство“ (журн. каз. бюро Истпарта—„Пути революции“, № 1).

ОГЛАВЛЕНИЕ.

стр.

Предисловие 3

Очерк I-ый. — Народная революция в начале XVII века 5

Очерк II-ой. — Разиновщина 28

1. Обще-русские и поволжские условия, приведшие народ к новому революционному взрыву 28
2. Стенька Разин, как яркий представитель и вождь „голутвенного“ казачества и „черного“ народа 34
3. Первое выступление Разина—„За зипунами 46
4. Подготовка Разина к новому выступлению 59
5. Революционное выступление Разина . . 67
   1. Разин в Царицыне и Астрахани 67
   2. Поход Разина вверх по Волге 78

Очерк III-ий. — Брожение в народных массах и мятежи после Разиновщины (до Пугачевщины) 107

1. Стрелецкое движение, Астраханский и Булавинский бунты 107
2. Крестьянское движение в XVIII в (до Пугачевщины 114

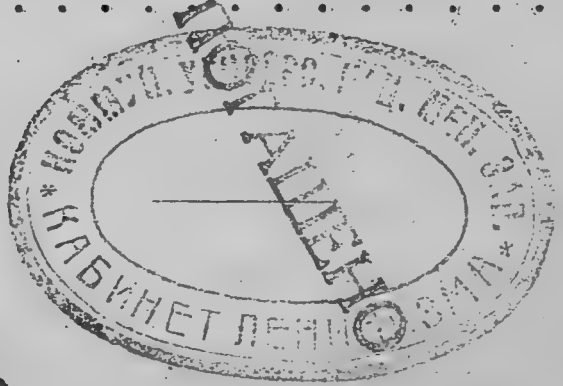
стр.

Очерк IV-ый. — Пугачевщина 119

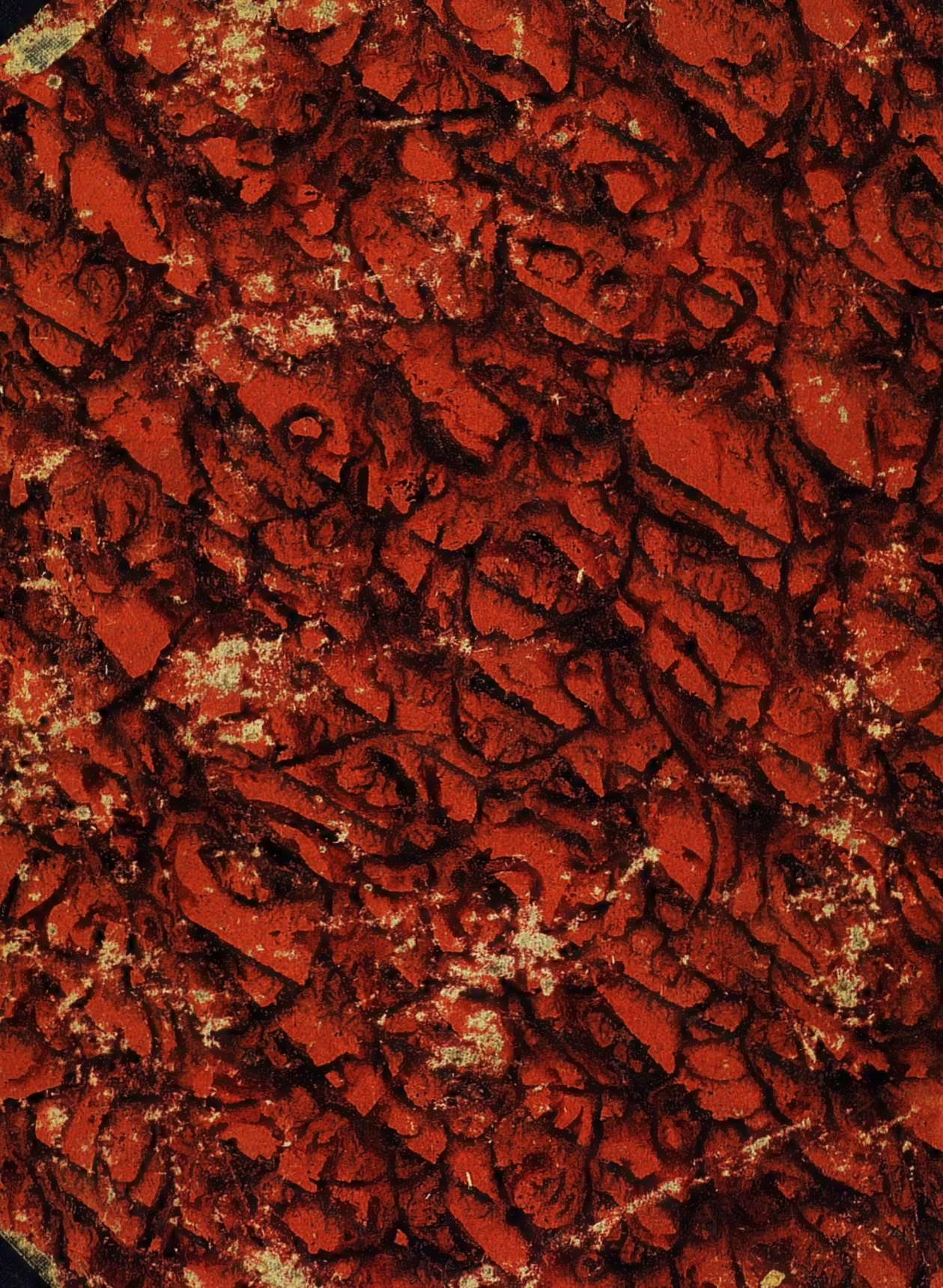
1. Личность Пугачева и его похождения до открытого выступления 119
2. Общее положение. 124
3. Положение населения в Поволжье и Приуралье 134
4. Оренбургский период движения или восстание яицких казаков и кочевников. . 144
5. Прикамский период восстания или заводская революция. 158
6. Взятие Казани и начало крестьянской революции 161
7. Поволжский период восстания или крестьянская революция, жакерия 165
8. Конец Пугачева и Пугачевщины 173

Очерк V-ый. — Крестьянское движение после Пугачевщины (в XVIII в.). 179

Заключение 197



ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

КОПИРОВАНИЕ

2.02.04.